

МЕЛЬНИЦА НА СУХОЙ РЕКЕ

НИКА ФРОСТ

Ника Фрост

Мельница на сухой реке

<https://litres.ru/74481599>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сорок лет назад реку увели каналом, и мельница в деревне Мельгуны осталась стоять на сухом. Только колесо у неё по ночам крутится над растрескавшейся глиной, и слышно, как в ларь сыплется мука.

Последний житель, восьмидесятичетырёхлетний Тихон Мелентьев, дважды в неделю носит туда мешок ржи. Он делает это сорок лет и никому не объясняет зачем. А срок между кормлениями всё сжимается: был год, стал месяц, теперь неделя.

В Мельгуны приезжают четверо с ютуб-канала про заброшки — за звуком работающей мельницы. И отдельно от них фольклористка Вера Плахина, у которой здесь родилась бабка и которая ещё не знает, что означает её фамилия в этой деревне.

Содержание

Пролог	4
Глава 1. Постав	14
Глава 2. Пятая от края	31
Глава 3. Что на записи	49
Глава 4. Под кузницей	68
Глава 5. Ночью пойдём смотреть	86
Глава 6. Сухая Гарь	103
Глава 7. Хлеб не пекут	121
Глава 8. Холостой ход	138
Гл	154
Конец ознакомительного фрагмента.	155

Ника Фрост

Мельница на сухой реке

Пролог

Деревня Мельгуны стоит в Ушынском районе, на реке Выюне. На картах её печатали последний раз в восемьдесят девятом. Мелким шрифтом, в скобках, с пометкой «нежил.».

Название объясняют по-разному. Приезжие думают, что от мельницы, и ошибаются. Деревня старше мельницы лет на сорок. Местные, пока они тут были, говорили другое. Будто первого поселенца звали Мельгун. Был он не то беглый, не то ссыльный. Пришёл с верховьев, о себе не рассказал ничего, за то и прозвали. В сельсоветских бумагах никакого Мельгуна, правда, нет. Есть Мелентьевы — семь дворов из двадцати одного. И все друг другу родня через две-три ступени. В глухих местах всегда так. Фамилий мало, людей много, и приходится помнить, кто кому кем доводится, до седьмого колена.

Река Выюна имя своё заслужила. Она вилась. На десять вёрст по прямой приходилось тридцать по руслу. Вода всё лето стояла низкая, тёплая, цвета крепкого чая. А в половодье поднималась так, что заливала огороды по крыльцо и уносила бани. Рыба водилась мелкая и костистая. Зато щуки

попадались такие, что их вешали в амбаре сушиться, как поленья. Берега были глинистые, оползневые. Обвалится кусок — и вылезет что-нибудь нехорошее. То звериная кость, то обломок лодки. А однажды, ещё до войны, вылезла целиком сидящая женщина в берестяном коробе. Её долго не решались трогать. Ждали, пока приедет кто-то из города с фотоаппаратом.

Мельницу поставил Гордей Мелентьев в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году. И поставил с третьего раза.

Первую снесло на вторую же весну. Вместе с плотиной и со всем, что на ней было. Вторую Гордей рубил основательнее. Лиственницу возил за двенадцать вёрст, плотину крепил сваями в три ряда. И вторую тоже снесло. Только уже не весной. Среди лета, в тихую воду, безо всякой причины. Ночью что-то ухнуло, а наутро на месте постова лежала груда мокрого леса. Один жёрнов нашли в полуверсте ниже, вбитым в берег ребром. Гордей был мужик упрямый и не бедный. Но после второго раза сел на завалинку и просидел до темноты. А назавтра запряг и уехал в верховья.

Кого он там нашёл, толком не знает никто. Говорили про старика при солеварне выше Красного Яра. Будто старик этот сам ехать отказался и объяснил на словах, что и как делать. Условие его в Мельгунах пересказывали шёпотом и с оговорками. Но суть была одна. Место под мельницей не пустое. Пока ему не заплатят, ничего тут стоять не будет. Платить надо живым, и скотиной не отделаешься: скотину, ска-

зал старик, вы уже пробовали, вон что вышло. Живое должно быть человечье, малое и молчащее. Чтобы не звало, не жаловалось и не просило обратно.

Девочку звали Улькой. Своей родни у неё не было. То есть была, да вся сгорела в девятом дворе за год до того. Улю выкинули в окно, и она уцелела. Только с того дня перестала говорить. Врачей поблизости не водилось. Деревенские рассудили, что это с испугу и, может, ещё пройдёт.

Не прошло.

Взяла её к себе Матрёна Плахина, вдова, у которой своих было четверо. Держала полтора года и, судя по всему, не обижала. Соседки помнили, что Улька ходила в справной кофте и что Матрёна её вычёсывала. А осенью восемьдесят седьмого Матрёна отдала девочку Гордею.

За что отдала, рассказывают разное. Одни говорят — за телка. Другие — что деньгами. Третьи — что вовсе ни за что, а просто мир так решил, и Матрёна спорить не стала. Улька, говорят, шла с Гордеем за руку и не упиралась.

Что было дальше, не рассказывал никто и никогда. Тут мельгуновские старухи замолкали намертво. Известно только, что клали ночью, на убылой луне. Что были при этом Гордей, двое его братьев и кузнец Афанасий. И что кузнец после сильно запил, а через полгода утонул в Выюне на ровном месте, в воде по пояс.

Ещё известно, что нижний камень везли отдельно от верхнего. И что под нижний подвели не свайный сруб, как ставят

езде, а глухой короб из плах. Вот этот короб потом и стали называть ларем. Хотя ларь на мельнице совсем другой, ларь — куда мука сыплется. Путаница эта в Мельгунах жила сто с лишним лет. И путали её нарочно.

Третья мельница пошла и стояла. Стояла, надо сказать, замечательно. Молола мелко и ровно, зимой не прихватывало, плотину в половодье не рвало. Мельгуны зажили сытнее всех вокруг. К ним возили молоть за сорок вёрст, и Гордей к девятисотому году держал уже две лавки в Ушье.

Но с мельницей пришло и правило.

Соблюдали его все, включая тех, кто в него не верил. В ночь на Симеона, первого сентября по старому счёту, мельницу пускали вхолостую и мололи один мешок ржи. Муку эту в дело не пускали. Не ели и скотине не отдавали. Ссыпали обратно, в яму под сливом, где вода стояла чёрная. Мешок нёс один человек. И человек этот всегда был из Мелентьевых.

Порядок был такой. Прийти затемно. Пустить воду. Засыпать зерно. А самому сесть на порог снаружи и сидеть, пока постав не отработает. Внутрь не заходить. В ларь не заглядывать. Мешки не считать — их и всего-то один, да только начнёшь считать и собьёшься, и вот тогда будет плохо.

Почему нельзя смотреть в ларь, не объяснял никто. На прямой вопрос отвечали, что нечего там смотреть, мука как мука. Внятно проговаривали одно — про руки. Возьмут тебя изнутри за руку — руку отдай. Не вырывайся и не кричи.

Говорили, что отдавать придётся недолго.

В тысяча девятьсот двенадцатом году работник по имени Семён взял из ларя с полпуда. Был он приезжий, нанятый на сезон, и, стало быть, ничего не знал. Взял, судя по всему, без злого умысла. По обычному рабочницкому соображению: хозяин богатый, мука лишняя, а у самого в Ушье жена и дети.

Испекли дома два каравая. Жена потом говорила, что хлеб вышел хороший, белее обычного. Съели его в три дня всей семьёй, и ничего ни с кем не сделалось. А Семён на четвёртый день не проснулся.

Нашли его во дворе, хотя лёг он в избе. Лежал лицом вниз. Сперва подумали на сердце. Потом фельдшер, человек в Ушье уважаемый и непьющий, разжал ему челюсти и вытащил изо рта комок муки величиной с кулак. Комок был плотный и сухой, от слюны не размок, будто его туда вбили колотушкой. Фельдшер завернул его в бумагу и повёз в город. По дороге бумага оказалась пустая. Он про это никому не сказал. Рассказала через много лет его дочь.

И ещё одно. От крыльца до того места, где лежал Семён, по утоптанной земле шли белые следы босых ног. Детские, размера на девятилетнюю. И шли они в обе стороны, туда и обратно.

С мельницей после этого ничего не случилось. Она работала дальше. А через двадцать с лишним лет к ней подступились с другой стороны.

В тридцать четвёртом Мелентьевых раскулачили — не всех, а тех, кто не успел записаться в колхоз. Мельницу отобрали, и это никого особенно не удивило. А в тридцать седьмом уполномоченный из района по фамилии Кубышкин распорядился старый постав разобрать. Лес пустить на коровник, а на этом месте поставить электрическую. Распоряжение было разумное. Старая мельница к тому времени молола только для деревни, а коровник был нужен.

Разбирать начали в июне и бросили в июле. Кубышкин к тому времени отбыл в район с забинтованной кистью и в Мельгуны больше не ездил. В объяснительной он написал, что повредил руку при осмотре механизма, и спорить с этим не стали.

Из четверых мужиков, снимавших крышу, до сентября дожили двое. Первый утонул в яме под сливом. В той самой, куда сто лет ссыпали муку, и глубины там было по грудь. Второго задавило плахой, когда вскрывали короб под нижним камнем. Плаху эту, говорят, потом положили на место и больше не трогали. В районной сводке оба случая прошли как производственный травматизм. Формально это была чистая правда.

Электрическую мельницу всё-таки построили. Только не на месте старой, а двумястами метрами ниже. Старую больше не трогали. Она осталась стоять — сперва как склад, потом как ничей сарай, потом просто стоять.

Мелентьевы при ней тоже остались. Вслух об этом не го-

ворили. Но в ночь на четырнадцатое сентября кто-нибудь из них обязательно уходил к реке с мешком. Колхозное начальство за полвека сменилось раз восемь, и ни разу никто не помешал. Начальство было своё, деревенское, и знало, что почём.

Вьюну убили в восемьдесят четвёртом. Убили не со зла, а по проекту.

Выше Красного Яра строили Вьюнский горно-обогаительный. Ему требовалась вода, и воду увели отводным каналом — сорок с лишним километров бетонного лотка, мимо всего этого. Ниже забора Вьюна за три года превратилась в цепочку стариц. Где по колено, где сухая глина в трещинах. В самих Мельгунах осталось болотце в старом омуте да ручей, который к июлю пересыхал.

Плотину размыло за одну весну: держать ей стало нечего. Колесо встало.

В деревне это приняли спокойно и даже с облегчением. Воды нет — значит, и молоть нечем. Значит, всё кончилось само, без чьей-либо вины.

Оно не кончилось.

Первым услышал Илья Мелентьев, отец нынешнего Тихона. В сентябре того же восемьдесят четвёртого. И услышал он ровно то, что слышал всю жизнь: ровный тяжёлый гул постава и шорох, с каким мука идёт в ларь.

Он вышел и дошёл до мельницы. Колесо крутилось. Воды под ним не было никакой — сухая глина, трещины, прошло-

годний лист. Илья вернулся домой, сел и до утра не ложился. А утром взял мешок ржи и отнёс, хотя до Симеона оставалось ещё две недели.

С тех пор Мелентьевы носили не раз в год, а чаще. Насколько чаще, считали только они сами.

Деревня разъехалась в девяносто первом и девяносто втором, за две зимы. Причины были обыкновенные, как везде. Закрылся коровник. Закрылась школа в Сухой Гари. Автолавка перестала ходить, потому что гать через болото никто больше не чинил. Молодые уехали в Устье и в город, старики доживали. К двухтысячному в Мельгунах жили четверо. К десятому — один. Этот один живёт там и сейчас.

Остальные дворы стоят. Крыши просели не у всех. Пойдёшь вечером по улице — и кажется, что в двух-трёх избах кто-то есть. Это неправда. Это просто стёкла ещё целые.

Приезжие начали появляться в конце девяностых.

Сперва металлисты. Резали и вывозили всё, до чего доставали, включая рельсы узкоколейки, которую клали тут при Хрущёве. Потом рыбаки. Эти ехали на карьерные озёра за Сухой Гарью, а в Мельгунах вставали на ночь, потому что удобно. А году с двенадцатого пошли те, кто снимает заброшенное на камеру.

Этих оказалось больше всех. И ездили они уже не случайно. Кто-то выложил в сеть сорок секунд со звуком работающего постава, и видео набрало столько, сколько Мельгуны не собирали за всю свою историю.

По Ушбинскому райотделу за двадцать лет проходит одиннадцать заявлений о безвестном исчезновении. Семь закрыты: люди нашлись. Вышли к карьерам, вышли на Сухую Гарь, один добрался пешком до Красного Яра и ничего внятного объяснить не смог.

Четыре не закрыты. Тела не найдены ни в одном случае, и это само по себе странно. Местность открытая, болота начинаются только за гатью, а в старицах утонуть трудно даже пьяному. Официально считается, что все четверо ушли к комбинатским карьерам, где есть затопленные выработки глубиной до сорока метров. Водолазов туда посылали дважды.

Дважды же в протоколах осмотра появляется одна и та же формулировка. В две тысячи пятом и в две тысячи шестнадцатом, и писали её разные люди, друг с другом не знакомые. Речь о следах белого порошкообразного вещества на полу мельницы, имеющих форму отпечатков босой стопы длиной двадцать один сантиметр.

В шестнадцатом вещество отправили на исследование. Заключение пришло скучное: мука ржаная обойная, влажность в норме, посторонних включений нет. Эксперт от себя приписал, что при таких условиях хранения мука должна была за неделю отсыреть и слежаться. А она не слежалась. И что это, вероятно, объясняется ошибкой при отборе образца. Больше к вопросу не возвращались.

А Тихону Ильичу Мелентьеву, последнему жителю, тому

самому, кто сорок лет назад слышал вместе с отцом сухой постав, этой весной сравнялось восемьдесят четыре. Ровно столько же прошло от Гордея до канала. Он эту арифметику однажды при свидетелях вслух проделал.

Ходит он ещё сам, только тяжело. Мешок возит на тележке от детской коляски: плечо больше не держит. Пенсию привозят раз в два месяца на комбинатском вездеходе, и водитель всегда ждёт у калитки и всегда торопится. В Сухой Гари Тихона Ильича называют по-разному, чаще всего — Постав. Когда его так называют, он не поправляет.

Этим летом к нему приехали.

Глава 1. Постав

Ночью постав шёл полтора часа, и это было не по сроку.

Тихон Ильич лежал на спине и слушал. Звук приходил снизу, от реки. Был он такой, каким был всегда: ровный тяжёлый гул, точно под избой в земле перекатывали бревно. А поверх гула — сухой шелест с оттяжкой. Так шумит мука, когда идёт в ларь. Такого ни с чем не спутаешь, если слушал его семьдесят лет подряд.

Он дождался, пока стихнет. Полежал ещё. Потом сел, спустил ноги в валенки с обрезанными голенищами — он носил их и летом, потому что по полу тянуло, — и начал считать.

Считал на пальцах, медленно, как считают старики. Не оттого, что забыл счёт, а оттого, что бояться ошибиться. Кормлено было на Ильин день, второго августа. Не по правилу, да пришлось. Потом двенадцатого. Потом двадцатого. Нынче двадцать седьмое.

Выходило, что постав пошёл сам на седьмой день.

Такого за всю его жизнь не бывало. Сперва раз в год, на Симеона. После канала — раз в месяц. Потом раз в две недели, потом в десять дней, и он к этому притерпелся, как терпят больную ногу. А теперь семь.

В сенях он поднял каждый мешок за угол. Знал ведь, что их четыре, и всё равно поднял, чтобы почувствовать вес. Три полных и один початый. При нынешнем счёте хватит до се-

редины октября. Дальше надо везти из Сухой Гари. А везти не на чем и некому: вездеход придёт в конце сентября с пенсией, и Ромка, водитель, за ворота не заходит. Спросишь его о чём — отвечает так, будто у него уже мотор заведён.

За дверью было светло и жарко, хотя солнце едва поднялось над лесом. Лето стояло сухое, тридцатое такое подряд, как считали в Устье. Трава в Мельгунах выгорела до цвета верёвки.

Улица тянулась двумя рядами, двадцать один двор. Тут никогда ничего не разбирали и не жгли — просто уходили и оставляли. Тихон Ильич шёл и по привычке отмечал, чьё где. Кобылины, Кобылины, Шадрины, пусто, Мелентьевы, Мелентьевы, опять Шадрины.

Он помнил всех до одного, и это было хуже всего. Мёртвая деревня тем и тяжела, что для того, кто в ней остался, она никакая не мёртвая, а полная народу, и народ этот стоит по дворам и молчит.

Руслó Вьюны начиналось сразу за огородами. Оно было похоже на след от чего-то тяжёлого, что тут долго волокли, а после убрали совсем. Глина, растрескавшаяся на плиты в ладонь. Ивняк, растущий уже по самому дну. Ржавые обручи от бочек, полозья, кости. Кости вылезали каждый год, коровьи, лосиные и всякие прочие, и смотреть на них он давно перестал.

Вода осталась только в омуте под мельницей. Чёрная яма метров восьми поперёк. Сто лет туда ссыпали муку, и в трид-

цать седьмом в ней утоп мужик по фамилии Сोगрин, хотя глубины было по грудь.

Мельница стояла на правом берегу, врезанная в откос. Стояла хорошо. Лиственничные венцы почернели до угольного, но ни один угол не тронулся. Крыша просела только над прирубом, да и то потому, что в девяносто шестом на неё повалилась берёза. Колесо было на месте — восьмиметровое, наливное, с двумя выбитыми лопастями. Под ним не было ничего. Ни воды, ни лотка, ни плотины. Всё это размыло за одну весну восемьдесят пятого. Теперь там лежала сухая глина в трещинах, прошлогодний лист и дохлый ёж.

Тихон Ильич обошёл мельницу кругом, как обходил всегда, и стал у порога.

След был свежий.

Он лежал на второй ступеньке. Белый отпечаток босой ступни, узкой, с плотно сжатыми пальцами. Длиной примерно в его ладонь с запястьем. Мука не осыпалась и не смазалась, хотя ночью тянул ветер, и лежала так, точно её напечатали и придавили сверху ладонью.

Тихон Ильич постоял над ней. Потом наступил и повозил подошвой, пока не осталось серое пятно.

В нынешнем августе это было четвёртый раз.

«Наружу ходишь, — подумал он без всякого выражения, как о соседке. — Ну ходи».

В ларь он не заглянул. Он не заглядывал в ларь с пятьдесят второго года. Тогда отец взял его на кормление первый

раз и сказал всего одно, и сказал негромко: возьмут за руку — руку отдай. Тихон спросил, надолго ли. Отец ответил, что ненадолго. Больше они об этом не говорили ни разу за тридцать лет, и другого наставления он не получил.

Обратно он шёл медленно, потому что вверх по откосу стало тяжело. На середине подъёма из-за деревни донёсся гул мотора.

Мотор надрывался долго, с перерывами. По звуку было ясно, что машина села. Сидит она, скорее всего, на гати, у третьего съезда, где позапрошлой весной провалило настил. Чинить, понятно, никто не стал. Потом мотор заглох совсем, и настала тишина, а через полчаса в конце улицы показались люди.

Тихон Ильич к тому времени успел дойти до дому, снять со стены ружьё и сесть на крыльцо с ружьём на коленях. Стрелять он не собирался. С ружьём его меньше трогали руками, а руками приезжие трогать любили. То за плечо возьмут, то приобнимут, то потащат в кадр.

Их было четверо. Шли цепочкой, и слышно их было долго.

— Она села на мост, я тебе говорю. На мост! Я слышал, как хрустнуло.

— Хрустнуло у тебя в голове. Вытащим за час лебёдкой. Барсук, скажи ему.

— Лебёдкой вытащим, — сказал четвёртый, с металлоискателем через плечо. — Только дерево там гнилое и цеплять

не за что. Вот в чём беда.

Третьей шла женщина в широкой белой рубашке. Она держала телефон перед собой на вытянутой руке и говорила в него на ходу:

— Ребята, мы в Мельгунах, это реально глухота. Тут вообще ничего нет. Тут даже связи нет, я на диктофон пишу.

Тихон Ильич смотрел, как они подходят, и по обыкновению прикидывал, кто из них первый. Он это делал всегда и редко ошибался, потому что способ был нехитрый: первым идёт тот, кто громче всех говорит, что ничего не боится.

Сейчас выходило, что тот, который Гера. Высокий, с короткой седоватой бородкой, в чистой городской одежде, какую в лесу пачкают за час. Он один шёл без груза.

— Здравствуйте, отец! — крикнул Гера ещё шагов за двадцать. — А мы думали, тут пусто. Вы нам прямо подарок!

— Здравствуйте, люди добрые, — сказал Тихон Ильич, как учили.

— Мелентьев, я правильно помню? — Гера стал у нижней ступеньки и почему-то не подал руки, хотя явно собирался. — Про вас в интернете есть. Вы у нас, можно сказать, легенда.

— В интернете я не был, врать не буду.

Толстый уже поднял свою коробку и наводил её на крыльцо. Тихон Ильич увидел красный огонёк.

— Погоди-ка снимать. Я разрешения не давал.

— Да мы аккуратно, отец. Лицо размоем.

— Убери.

Огонёк погас, и толстый опустил камеру на живот. А женщина за его спиной телефон не опустила. Тихон Ильич это видел и говорить второй раз не стал.

— Мы с канала «Тёмный угол», — сказал Гера с той лёгкостью, с какой люди называют то, чем гордятся. — Триста двадцать тысяч подписчиков. Ездим по заброшкам, снимаем, ничего не ломаем, мусор за собой вывозим. Нам бы тут пару ночей постоять.

— Стойте. Изб полно. Выбирайте любую, где крыша цела.

Он сказал это и сразу почувствовал в груди слева знакомую тяжесть. Она приходила всякий раз, как он произносил эти слова. Говорил он их лет тридцать и знал, что неправда тут не в словах, а в том, что молчит рядом со словами.

Иначе было нельзя. Скажешь — не поверят. А поверят — так побегут, и побегут ночью, и вот тогда уж точно всё. Проверено дважды, оба раза в девяностые. После второго раза он полгода не спал.

— А за постой сколько, отец? — спросил тот, что с металлоискателем, сгружая его с плеча. — Мы заплатим, у нас с этим нормально.

— Не надо мне.

— Ну хоть продуктов? Тушёнка есть, сгущёнка есть.

— Крупы если, — подумав, сказал Тихон Ильич. — Крупы возьму. И спичек, коли лишние.

Пока Барсук копался в рюкзаке, Гера прошёлся вдоль па-

лисадника, оглядел избу, потом задрал голову. Смотрел он за огороды, туда, где за ивняком темнела крыша мельницы. Смотрел долго. Тихон Ильич по этому взгляду понял всё, что нужно было понять.

— Она, да? — спросил Гера, не оборачиваясь. — Та самая, где звук?

— Мельница как мельница.

— Тихон Ильич, — Гера всё-таки обернулся, и в лице у него появилось что-то серьёзное и, пожалуй, честное. — Я вам прямо скажу, зачем мы приехали, чтоб мы друг друга за нос не водили. Есть ролик, четырнадцатый год, сорок секунд. Снят вот с этого примерно места. На нём слышно, как работает мельница. Звук настоящий, его на студии проверяли, это не монтаж. Мы хотим записать его нормально, на хорошую аппаратуру. И всё.

— Полезете.

— Не полезем, честное слово.

— Ночью на мельницу не ходите, — сказал Тихон Ильич раздельно, глядя ему в переносицу. В глаза он людям давно не смотрел, и причины у него были свои. — Днём ходите сколько хотите. Снимайте, лазайте. А как стемнеет — не ходите. И ещё: что бы вы там ни нашли, из мельницы не выносите. Ни доски, ни гвоздя. И муки, если увидите, руками не трогайте.

Стало тихо. Женщина с телефоном подошла ближе и присела на корточки сбоку, держа телефон низко, от земли.

— Какой муки? Там что, мука есть? Она же с восемьдесят четвёртого стоит.

— Жанна.

— Я только уточняю.

Тихон Ильич поглядел на неё. На белую рубашку, на телефон, на голые щиколотки в кроссовках. И ничего не ответил. Он давно заметил, что таким лучше не отвечать. Любой ответ они принимают за начало разговора, а никакого разговора он вести не собирался.

Пятая пришла отдельно, часа через полтора. Те четверо уже выбрали себе избу — пятую от края, Шадриных, с целыми стёклами, — и оттуда доносился стук и смех.

Тихон Ильич сидел на том же крыльце и чистил картошку в ведро, когда увидел её в конце улицы. Она шла с большим рюкзаком, который был ей велик и сидел высоко на затылке, однако шла легко и ни разу не остановилась передохнуть. И первое, что он про неё подумал: эта не с ними.

Разница была видна по походке. Те четверо шли по чужому, эта же шла по своему: смотрела по сторонам, на дворы, и вперёд почти не глядела. У третьего дома остановилась и постояла.

Она подошла, сняла рюкзак и поставила его на землю, прежде чем заговорить.

— Здравствуйте. Я вам помешаю?

— Сиди, коли пришла.

— Меня зовут Вера. Я из университета, с кафедры фольк-

лора, у меня экспедиционное направление, могу показать бумагу. — Говорила она быстро, но не тараторила. Так говорят люди, привыкшие, что их перебивают. — Мне в Сухой Гари сказали, что в Мельгунах живёт один человек и что он вряд ли станет со мной разговаривать.

— Правильно сказали.

— Я так и думала, — она села прямо на траву у крыльца, подобрав под себя ноги.

Это его неожиданно расположило. Приезжие всегда либо стояли над ним, либо лезли рядом на ступеньку.

— Я тогда скажу, зачем я здесь. Скажете уходить — уйду. Меня интересует не мельница.

— А что тебя интересует?

— Люди. Мельгуновские. Кто уехал и куда. У меня тут бабушка родилась. Я её почти не помню, она умерла, когда мне было четыре года.

Тихон Ильич положил нож на ступеньку и вытер руки о штаны.

— Как звали?

— Нина. Нина Егоровна, тридцать восьмого года, — Вера расстегнула боковой карман рюкзака и достала плотный конверт. — Она уехала отсюда в пятьдесят четвёртом, ей было шестнадцать. Вот, я нашла в архиве справку из сельсовета.

Она протянула ему сложенный вчетверо лист. Тихон Ильич взял его двумя пальцами, развернул и отвёл подальше от глаз: очки лежали в избе.

Бумага была та самая, серая, с фиолетовым штампом. Таких он за жизнь видел сотни. Он прочёл две строки, дошёл до фамилии и остановился.

Плахина.

Он держал справку и смотрел в неё дольше, чем нужно, чтобы прочесть. Под рёбрами слева начало разворачиваться то самое, тугое.

К тому времени, как он родился, Плахиных в Мельгунах не осталось ни одного, ни по мужской линии, ни по женской. Фамилию эту он знал не от соседей и не из бумаг. Он знал её из единственного разговора с бабкой Дарьей, на девятом году жизни. Бабка закончила тот разговор тем, что взяла его за подбородок жёсткими пальцами и велела не пересказывать.

Она рассказала ему, кто отдал девку под камень. И как отдал. И что за это получил. И назвала фамилию. Фамилия была Плахина, Матрёна.

А потом добавила то, что он с тех пор носил в себе, как носят осколок. Долг-то не на Мелентьевых, Тиша. Мелентьевы только кормят. Долг на тех, кто отдал.

— Что-то не так с бумагой? — спросила Вера.

— Бумага хорошая, — он сложил её и вернул. — Плахины тут были, верно. Давно.

— Вы их помните?

— Я их не застал. Мне про них говорили, — он поднял ведро с картошкой и поставил себе на колени, чтобы занять руки. — Ты у них одна осталась? По этой линии?

Вера ответила не сразу, и он отметил, что не сразу.

— Одна. У бабушки была сестра, но она умерла в детстве, ещё здесь. И у мамы ни братьев, ни сестёр. И у меня.

— А дети у тебя есть?

— Нет, — она посмотрела на него снизу вверх, склонив голову. — Это важно?

— Не важно. Так спросил.

Он врал, и врал плохо. По её лицу он увидел, что она заметила. Но дальше она спрашивать не стала. Вместо этого достала из кармана маленький чёрный диктофон и положила его на ступеньку рядом с ножом, экраном вверх, не включая.

— Я всегда предупреждаю. Разрешите — запишу. Не разрешите — уберу и не буду. Я не снимаю исподтишка.

Тихон Ильич поглядел на диктофон. Потом на неё.

— Убери. Пока убери.

Она ушла ставить палатку и поставила её на выгоне за околицей, метрах в двухстах от крайнего двора. Тихон Ильич поглядел на это и подумал, что девка не дура и что это ей не поможет.

Остаток дня был обычный. От Шадриных весь вечер слышался стук: они сколачивали себе стол из горбыля и, судя по звукам, сколотили. Барсук прошёл с металлоискателем вдоль всей улицы, потом свернул к реке. Тихон Ильич следил за ним от крыльца, пока тот не скрылся за ивняком. На мельницу Барсук не пошёл, свернул выше и долго ковырял землю у бывшей кузницы. Это было ничего. Там можно.

Барсук пришёл к нему сам, часу в седьмом, и пришёл без прибора.

— Можно спросить?

— Спрашивай.

— Кузница у вас где стояла? — он вытер лоб рукавом.

— Я по фундаментам хожу, а тут фундаментов много и все одинаковые. Не хочу зря копать.

Тихон Ильич отставил ведро с картошкой. Спрашивал парень по-хорошему, не хитря, и оттого отвечать было хуже.

— На отшибе кузницу ставили. Всегда на отшибе, чтоб изба от искры не занялась. Вон туда иди, за крайний двор, к руслу. Найдёшь: там камень дикий в четыре угла и крапива в рост.

— Ага. — Барсук поглядел в ту сторону. — А железа много было?

— Железа в кузнице всегда много.

— Это да. Это я знаю.

Он потоптался ещё, и Тихон Ильич понял, что главного парень не спросил.

— Ну?

— Копать можно?

— Нельзя.

Барсук посмотрел на него без обиды, но и без готовности слушаться. Так смотрят, когда прикидывают, всерьёз человек говорит или для порядка.

— Я же не варвар. Я по верху хожу, на штык. Что вытащу,

потом обратно закопаю или в музей отдам, у меня в Устье знакомый в краеведческом.

— Нельзя, — сказал Тихон Ильич. — Хочешь по верху ходи, прибором своим щупай, звени. А лопату в землю не суй.

— Почему?

Вот этого вопроса он и ждал. Правду сказать было нельзя, а врать этому парню отчего-то не хотелось, потому что из них четверых он был единственный работающий.

— Потому что тут не всякую землю копают, — сказал он наконец. — Есть земля, где лежит.

— Кладбище, что ли? — Барсук нахмурился. — Так кладбище за гатью, мне в Сухой Гари говорили.

— Кладбище за гатью.

— А тут кто лежит?

— А тут те, кого на кладбище не повезли.

Барсук долго молчал. Потом сел на корточки у крыльца, сорвал травинку и стал её мять.

— Самоубийцы? — спросил он тише. — У нас в Прикамье тоже так хоронили, я читал. За оградой, без креста.

— Всекие.

— Много?

— Одна.

Тихон Ильич сказал это и сразу пожалел, потому что по лицу парня увидел: теперь тот пойдёт обязательно. Раньше ему была любопытна кузница, а теперь — что под кузницей.

Так всегда и выходит, когда запрещаешь с объяснением: запрет пропускают мимо ушей, а объяснение запоминают намертво.

— А имя у неё есть?

— Иди ужинать, — сказал Тихон Ильич. — Вон тебя зовут.

От Шадриных и вправду кричали: стол дособирали и требовали Барсука хвалиться. Тот поднялся, отряхнул колени и пошёл. На полпути обернулся.

— А я всё равно схожу гляну. Только копать не буду, честно.

К восьми жара отпустила, и над сухим руслом встала мошка. Плотным столбом, как дым. В восемь Тихон Ильич затопил печь, хотя на улице было тепло: ему нужны были угли. В половине девятого вытащил в сени тележку от детской коляски и проверил, не спустило ли левое колесо. В девять сходил в огород, вырвал десяток луковиц, сложил в таз и оставил на столе. Не зачем-нибудь, а потому что руки просили работы, а работы не было. Это было самое тяжёлое время суток.

В десять он сел на лавку у окна и стал ждать темноты.

Ждал он без страха, и это была чистая правда, только правда неприятная. Страх у него кончился давно, году в девяносто восьмом. Вместо страха осталась тошная привычка, вроде той, что бывает у человека, который сорок лет ходит на нелюбимую работу.

Он не боялся того, что живёт под нижним камнем. Он боялся другого. Что однажды не сможет дойти. Что нога не пустит, или сердце, или просто уснёт и не услышит. И тогда постав пойдёт вхолостую. А холостого он не терпит и берёт сам.

В половине двенадцатого Тихон Ильич взял мешок, поставил его на тележку и вышел.

Идти было четыреста метров, из них полтора вни́з по откосу. Вни́з он спускался боком, придерживая тележку, чтоб не покати́лась. Ночь стояла светлая, безлунная, с тем августовским небом, по которому тянет белым. За спиной у Шадриных горело окно, и оттуда долетало не то музыка, не то голоса. Это его сейчас не касалось.

У мельницы пахло сухой глиной и высохшей травой.

Он поставил тележку под стеной и взвалил мешок на плечо. Взвалил с третьей попытки: плечо перестало брать ещё зимой. Втащил на порог. Дверь открылась без скрипа — он смазывал петли солидолом два раза в год.

Внутри было темно и сухо, и светить фонарём он не стал. Прошёл шесть шагов по памяти, нащупал бортик засыпного короба, развязал горловину и высыпал рожь. Рожь пошла с тем густым шорохом, от которого у него за всю жизнь осталось единственное похожее на уют чувство, и он подождал, пока шорох кончится. Потом свернул пустой мешок, сунул под мышку, вышел и сел на порог спиной к двери.

И стал ждать, и ждать пришлось недолго, минуты три.

Сперва в глубине что-то сдвинулось, коротко, по-деревянному, точно кто-то поправил доску. Потом пошёл вал. Гул начался снизу, из-под самого пола, набрал за несколько секунд полную силу и встал на одной ноте, и держал её, не качаясь. Вместе с ним снаружи, над сухим руслом, тяжело провернулось колесо.

Тихон Ильич не оборачивался. Он знал, как оно выглядит: восемь метров черноты, идущей кругом, и с лопастей ничего не течёт, потому что течь нечему.

Потом пошла мука. Он услышал её справа и сзади, в ларе, — тот самый сыпучий звук с оттяжкой.

Он сидел, положив руки на колени ладонями вниз, и смотрел перед собой, на ивняк.

Через минуту в ларе стукнули, и стук шёл изнутри, снизу вверх, в самую крышку, и повторился трижды. Не сильный. Так стучит ребёнок, который стоит за дверью и не достаёт до ручки.

Тихон Ильич не шевельнулся, только почувствовал, как у него немеют губы, точно их прихватило морозом.

За семьдесят два года она не стучала ни разу.

Постав шёл ещё сорок минут. Все сорок минут он просидел на пороге, не оборачиваясь, и больше не стучало.

Потом гул начал спадать, а когда спал совсем, стало слышно, как в лесу за рекой кричит какая-то птица. Тихон Ильич поднялся, держась за косяк: ноги затекли. Постоял, приходя в себя. Он собирался взять тележку и уйти, и он бы ушёл.

Да глаза уже привыкли к темноте, и он опустил их себе под ноги.

На ступеньках лежал след, тот самый, узкий, с поджатыми пальцами, и был он не один. Их было много, и уходили они от порога вниз, на глину, и дальше по сухому руслу.

Тихон Ильич пошёл по ним. Ничего другого сделать он не мог.

Белые отпечатки лежали на глине ровной цепочкой, шаг в шаг, по линейке. Они пересекли русло и поднялись по откосу. И там, наверху, на утоптанной тропе, он увидел вторые.

Вторые были больше. Взрослая нога, тоже босая, узкая в пятке. Шли они рядом с первыми, вплотную, справа. В одном месте маленькая ступня наступила на большую, в другом большая на маленькую. И было видно, как они шли.

За руку.

Тихон Ильич стоял и смотрел на это, и ему сделалось холодно в самую жару.

Он пошёл по следу дальше. След вышел на улицу, пересёк её наискось, обогнул палисадник Кобылиных. И повёл прямо, мимо двух дворов, к пятой избе от края. К той самой, где у Шадриных ещё горел фонарь, где кто-то негромко смеялся и звякало стекло.

У калитки следы обрывались, и обрывались оба разом, на одном шагу, как обрывается строчка, когда в машинке кончается нитка.

Глава 2. Пятая от края

Вера не спала в ту ночь и слышала всё от начала до конца.

Палатку она поставила на бугре, где трава была короткая и жёсткая, вперемишку с полынью. Её явно выкосили, хотя косить тут было некому лет тридцать. Отсюда деревня лежала как на ладони. Два ряда крыш, одно жёлтое окно у Шадриных, а дальше, за огородами, чёрный провал сухого русла.

В спальник она забралась в одиннадцатом часу. Честно попробовала уснуть, поняла, что не выйдет, и легла на живот, расстегнув полог.

Она видела, как старик вышел из калитки с тележкой. Как спускался боком, мелкими шагами, придерживая её. Потом он пропал за ивняком, и минут десять стояла полная тишина. Потом снизу пошёл звук.

Первым делом она отметила, что живьём звук совсем другой. У неё в ноутбуке лежал тот самый ролик четырнадцатого года. Она слушала его раз тридцать, и в наушниках, и на колонках, и он всегда звучал плоско, как холодильник за стеной.

Тут гул шёл через землю. Она чувствовала его локтями, лежащими на коврике, и переносицей, а ещё где-то в зубах. Гул был ровный и тяжёлый, держался на одной ноте и ни разу не сбился за сорок с лишним минут. Она засекла по часам, потому что была всё-таки на работе.

Поверх гула шёл второй звук, тонкий. Вот его на записи не было вовсе. Сыпучий, с оттяжкой, точно кто-то пересыпает крупу из ладони в ладонь и никак не может кончить.

Вера лежала и думала не о том, о чём следовало бы. Она думала, что за четыре экспедиции ни разу не встречала обряда, который кто-то соблюдал бы в одиночку. Обряд — вещь общественная, он держится на том, что смотрят соседи, и если соседей убрать, он рассыплется за одно поколение, это азы и первый курс.

А здесь соседей не было тридцать лет. И обряд стоял.

Гул стих около часа ночи. Она дождалась, пока старик поднимется по откосу, и не дождалась: он поднялся, но домой не пошёл. Долго ходил по улице, наклоняясь, будто искал что-то утерянное. Потом стал у пятой избы от края и простоял там неподвижно так долго, что Вера в конце концов застегнула полог, легла и укрылась с головой.

Жара встала уже к восьми, и деревня к этому времени была на ногах.

У Шадриных во дворе стоял свежий стол из горбыля. За столом сидел толстый оператор с ноутбуком, накрыв голову и экран курткой, как фотограф в старину. Рядом на чурбаке пристроился Гера и чистил ножом яблоко, снимая кожуру одной лентой.

— Доброе утро. Можно?

— Нужно! — Гера махнул ножом в сторону лавки. — Са-

дितесь, у нас кофе. Настоящий, не растворимая дрянь, мы с собой турку возим.

— Спасибо, я с чаем.

— Кофе, чай, главное — компания, — он отложил яблоко и вытер руку о штаны. — Мы вчера, честно скажу, решили, что вы от администрации. У вас вид такой, будто вы сейчас штраф выпишете.

— Я от кафедры. Это хуже.

Толстый вылез из-под куртки, красный и взмокший.

— Вы фольклорист, да? Это как в кино, где приезжает тётка с диктофоном, а потом всех убивают?

— Обычно наоборот. Приезжает тётка с диктофоном, записывает восемь частушек, и всем скучно.

Гера засмеялся. Громко, с удовольствием, как смеются люди, привыкшие, что их смех слышат многие. Вера отметила, что смеётся он ровно на секунду дольше, чем следовало бы.

Жанна вышла из избы минут через десять, босиком, с телефоном. И первым делом навела его на Веру.

— Это Вера, она учёный. Вера, скажите зрителям что-нибудь про мельницу.

— Уберите, пожалуйста.

— Да ладно вам, это сториз. Они через сутки исчезают.

— Уберите, — Вера сказала это без нажима. — Я в кадре не работаю. Если вы меня снимете и выложите, я напишу в администрацию площадки, ролик снимут, а вам прилетит

страйк. Мне бы этого не хотелось, у меня дел много.

Жанна опустила телефон, и в лице у неё проступило что-то детское и обиженное, и тут же ушло.

— Могли бы просто попросить.

— Я просила. Вчера.

— Сядь и не трогай человека, — сказал Гера, не поднимая головы. — Человек с утра.

Барсука во дворе не было. Он ушёл ещё затемно и вернулся к девяти, весь в глине по колено, с прибором на плече и с пакетом, в котором что-то звякало. Содержимое он вывалил прямо на стол, сдвинув локтем кружки.

— Кузница. Я так и думал. Её на карте нет, а она была.

На горбыле лежали три подковы разного размера, штук сорок кованых гвоздей, спёкшихся в комок, дужка от ведра, половина ножниц и что-то мелкое, тёмно-зелёное.

Вера потянулась и взяла это мелкое двумя пальцами.

Это был крестик, нательный, медный, литой, с потерявшей оглавкой, размером с ноготь большого пальца. Пatina съела рельеф почти целиком, но перекладина читалась, и по краю шёл ободок.

— Детский.

— Почему детский? — Барсук перегнулся через стол.

— По размеру. Взрослые крупнее раза в полтора, — она повернула крестик к свету. — Восемнадцатый век, может, начало девятнадцатого. Он старше мельницы.

— Да ладно! — толстый полез за камерой. — Погоди, я

сниму, это же контент. Барсук, возьми его в руку и скажи что-нибудь.

— Я его нашёл в отвале. Что мне сказать?

— Что угодно скажи, только с чувством.

Вера положила крестик обратно на стол, аккуратно, звякнув о подкову.

— Верните его на место.

За столом сделалось так, что стало слышно, как в чайнике оседает вода.

— В смысле? — спросил Гера.

— В прямом. Закопайте туда, откуда взяли, или отдайте в Ушьинский музей, у них есть фонд. Но не таскайте в рюкзаке и не показывайте на камеру, — она помолчала. — И дед вам вчера то же самое сказал, только другими словами.

— Дед сказал не выносить из мельницы. Я не из мельницы, я из кузницы.

Спорить она с ним не стала.

Днём они всё-таки пошли на мельницу, и Вера пошла с ними. Старик разрешил ходить днём, и не пойти было бы глупо.

Спускались по той же тропе, где ночью шёл Тихон Ильич. Вера шла последней и смотрела под ноги. Тропа была утоптана до каменной твёрдости. Сорок лет, один человек, дважды в неделю, туда и обратно. Она попробовала прикинуть, сколько это километров, сбилась и бросила.

Мельница вблизи оказалась больше, чем выглядела сверху. Сруб в двенадцать венцов, лиственница в обхват, почерневшая до угля и звонкая, как чугун, если постучать костяшкой.

Вера обошла его кругом и стала с речной стороны, там, где висело колесо.

Восемь метров. Наливное, с двумя выбитыми лопастями, серое, растрескавшееся, но целое. Ось лежала в деревянных подшипниках, и подшипники были смазаны свежим солидолом, тёмным, с налипшим сором.

Под колесом лежала сухая глина. Плиты в ладонь, трещины в палец шириной, прошлогодний лист,дохлый ёж. Ни воды, ни лотка, ни жёлоба, ни единого следа того, что тут за сорок лет была хоть капля.

— Сними ось, — сказал Гера тихо. — И подшипники сними, крупно.

Внутри было сухо, темно и пахло тем особым мучным духом, который не выветривается из мельниц никогда. Сладковатым, пыльным, чуть мышинным. Гера включил фонарь, и луч пошёл по стенам.

Всё было на месте. Поставной ларь, засыпной короб, ковш, порхлица. На стене колок с двумя мешками, свёрнутыми и подоткнутыми. На балке под потолком керосиновая лампа со стеклом. В углу метла.

Вера прошла к постову, присела и посветила себе телефоном в щель между камнями.

Жёрнов был обточен. Не заброшен и не прикипел: обточен, со свежей насечкой на бороздах. По краю нижнего камня лежала мучная пыль, совсем светлая.

Гера подошёл сзади и присел рядом.

— Скажите мне как специалист. Он же не может её крутить руками?

— Не может. Верхний камень весит килограммов шестьсот.

— Значит, он её как-то запускает.

— Чем? — Вера поднялась и отряхнула колени. — Воды нет. Привода нет. Электричества в деревне нет с девяносто третьего, я смотрела по документам. Двигателя тут тоже нет, я бы увидела.

— Значит, где-то спрятан.

— Возможно. Найдёте — покажете.

Ларь стоял справа от постава. Глухой, длинный, из плах, потемневших так же, как венцы, с тяжёлой откидной крышкой на кованых петлях. Петли были смазаны тоже.

Толстый обошёл ларь кругом, светя в него камерой.

— Тут написано что-то. На торце, смотрите.

Вера подошла. На торцовой плахе, под слоем грязи, было вырезано ножом. Не выжжено, а именно вырезано, глубоко, и резал это не мастер: резал тот, кому было очень надо.

Она поплевала на палец и протёрла.

Проступили три буквы: У, Л, Ъ. Дальше плаха была сколота.

— Уль. Это чего?

— Имя, наверное. Ульяна, — во рту у Веры пересохло, и она не понимала почему.

— Женское имя на мучном ларе, — сказал Гера с тем же тихим удовольствием, с каким чистил яблоко. — Костян, ты снял?

— Снял.

— Крышку поднимем?

Вера обернулась. Гера стоял, положив ладонь на край крышки, и смотрел на неё. Было ясно, что он спрашивает не про разрешение. Он смотрел, как она дёрнется.

— Дед просил не трогать.

— Дед просил не выносить и муку руками не трогать. Про крышку он ничего не говорил.

— Герман. — она назвала его полным именем, и он моргнул. — Вы приехали за звуком. Звук вы запишете ночью снаружи, стоя на откосе, и поднимать для этого ничего не надо. Вы понимаете, что старику восемьдесят четыре и он тут один? Что бы он ни делал с этой мельницей, он делает это сорок лет и до сих пор жив. Это единственный местный эксперт, других нет.

Гера подержал руку на крышке ещё секунды две. Потом убрал.

— Ладно. Уболтали.

Жанна вышла на воздух первой. Когда Вера выбралась следом, та стояла у порога, отвернувшись, и зачем-то тёрла

ладони друг о друга.

— С вами все хорошо?

— Душно там.

— Там сухо и прохладно.

Жанна обернулась. Лицо у неё было съехавшее, как у человека, которого разбудили не вовремя и который ещё не решил, сердиться ему или нет.

— Слушайте. Я ночью проснулась, потому что в окно стучали. Три раза. Снизу, по нижнему стеклу, вот так, — она показала костяшками в воздухе, коротко, вверх. — Я подумала, Барсук вернулся и дверь не найдёт, он с вечера уходил. Встала, подошла, а там никого.

— А Барсук где был?

— В избе спал. Я проверила, он на печке храпел.

Вера поглядела на её руки, которые всё ещё тёрлись одна о другую.

— Вы кому-нибудь сказали?

— Гере сказала утром, — Жанна усмехнулась и снова стала прежней, ершистой. — Он говорит, это отлично, надо повторить на камеру.

К старику Вера пошла в четвёртом часу, одна, и застала его за работой. Он сидел на чурбаке у сарая и правил косу, хотя косить в Мельгунах было решительно нечего и некому.

— Можно к вам?

— Иди.

Она села на траву, на то же место, что вчера.

— Я к вам с вопросом и с просьбой. Сначала вопрос, — Вера достала блокнот, но открывать не стала, держала на коленях. — В деревне была школа?

— Начальная. Четыре класса. До пятьдесят восьмого, потом свозили в Сухую Гарь.

— А документы школьные куда девались? Журналы, списки?

— Кто ж их знает, — он провёл брусом по лезвию иглянул вдоль. — В сельсовете были бумаги, а сельсовет у нас в Кобылинской избе сидел, вторая от колодца. Там и пусто с тех пор.

— Можно мне туда зайти?

Тихон Ильич опустил косу на колени и придержал её ладонью.

— Ты в чужие избы лазать собралась?

— Собралась. Это моя работа, я за этим и приехала. Только я спрашиваю разрешения, потому что хозяин тут вы. Не по бумагам, а по-человечески. Не разрешите — не пойду.

Он посмотрел на неё долгим взглядом, и она впервые заметила, что в глаза он не смотрит. Смотрит в переносицу, в лоб, в скулу, куда угодно рядом.

— Ходи. Днём ходи. А в подпол не лазай, там полы гнилые.

— Спасибо. Теперь просьба, — она всё-таки открыла блокнот. — Расскажите мне про Плахиных.

Брусок остановился на середине лезвия.

— Нечего рассказывать.

— Вы вчера, когда прочли фамилию, изменились в лице. Я не следователь и не журналистка, мне некуда это нести. Но я здесь из-за этой фамилии. И я не уеду, пока не пойму, почему бабушка ни разу за всю жизнь не назвала родную деревню. Ни разу. Мама говорит, что даже слова «Мельгуны» в доме не звучало.

Он положил косу на траву, рядом с бруском, и вытер ладони одна о другую. Тем самым движением, каким минуту назад тёрла руки Жанна. Вера поймала себя на том, что заметила это, и отметила заодно, что мысль эта дурацкая и не ко времени.

— Матрёна Плахина была. Вдова, четверо детей. Больше не знаю ничего, врать не стану.

— Матрёна, — Вера записала. — А Ульяна?

Тихон Ильич не ответил ни слова и снова взялся за брусок.

— На ларе вырезано «Уль». Я не лезла внутрь, это на торце снаружи, там и грязь-то отскребать не надо. Ульяна ведь?

Он поднял голову, и на этот раз посмотрел прямо. Глаза у него оказались светлые, почти без цвета, как разбавленный чай.

— Ульяна. Улька. И больше ты меня про неё не спрашивай, слышишь? Ни сегодня, ни завтра. Захочу — сам скажу.

Кобылинская изба, вторая от колодца, стояла с целой кры-

шей и провалившимся крыльцом. Вера залезла в неё через окно, подставив чурбак.

Внутри было то, что всегда бывает в таких домах: пусто и при этом полно до отказа. Печь с отбитым устьем. Лавка. Стол с прожжённой клеёнкой. На стене репродукция из «Огонька», приколотая ржавыми кнопками. В углу гора тряпья, в которой мыши устроили город.

Сельсоветского не осталось ничего, кроме прибитой к косяку эмалированной таблички с номером. Вера уже собиралась уходить, когда увидела над дверью полати.

Она подтащила стол, залезла и пошарила рукой в пыли.

Там, в самом углу, у стены, лежала обувная коробка.

Вера спустила её на стол и открыла. Внутри была обычная деревенская археология. Пачка почтовых открыток к Первому мая. Три пары очков без стёкол. Катушки. Чья-то профсоюзная книжка. Конверты с письмами, перетянутые бечёвкой. А снизу — стопка тетрадей в потемневших обложках.

Верхняя оказалась по русскому языку ученика третьего класса Кобылина Виктора. Чернила выцвели до бурого, но читались. Дальше шла ещё одна, и ещё, все того же Виктора, за разные годы. Вера уже решила, что это пустышка, когда под ними обнаружился журнал.

Журнал оказался самодельный: обычная общая тетрадь, расчерченная от руки в столбцы. На обложке химическим карандашом: «1953/54 уч. г. 1—4 кл.».

Вера села на лавку, положила тетрадь на колени и откры-

ла.

На первой странице шёл список: двадцать девять фамилий аккуратным учительским почерком, с датами рождения и с отметкой о родителях. Она пошла глазами сверху вниз и на восьмой строке остановилась.

«Плахина Нина Егоровна, 1938, мать — Плахина А. И., отец погиб».

Бабушка. Пятнадцать лет в четвёртом классе — переросток, как половина этого списка. В войну и после в школу шли как получится.

Вера перевернула страницу, чтобы посмотреть отметки, и увидела, что почерк меняется.

Учительские столбцы кончались на седьмом листе. С восьмого и до конца тетради шло другое. Карандашом, крупно, криво, детской рукой, с нажимом, прорвавшим бумагу в нескольких местах.

Одно и то же слово. Строка за строкой, страница за страницей, лист за листом, до самого конца.

«пусти пусти пусти пусти пусти пусти»

Вера пролистала всё. Двадцать с лишним листов, исписанных с обеих сторон, без единого пробела, без полей. К последним страницам буквы делались крупнее и хуже, точно писавший уставал, а бросить не мог.

Она закрыла тетрадь и посидела неподвижно, слушая, как в гнилых полатях над дверью возятся и попискивают мыши. Потом открыла снова, на последнем листе, и поднесла к све-

ту из окна.

Грифель на последнем листе отчётливо блестел.

На выцветшей бумаге грифель за семьдесят лет делается серым и матовым, а этот был жирный, с той характерной искрой, какая держится у карандашного следа первые дни. Вера потёрла пальцем самый край буквы.

Палец стал серым, будто она провела им по свежему простому карандашу.

К кузнице Вера пошла проверить одну вещь, и сделала она это сразу.

Фундамент стоял на отшибе, за крайним двором, ближе к руслу. Неровный четырёхугольник дикого камня, сложенного насухо, заросший крапивой в человеческий рост. Внутри четырёхугольника крапивы не было. Там лежала голая, слезанная земля, и на ней не росло ничего, даже полынь.

В середине этой земли торчали четыре колышка, свежеструганых, вбитых по углам небольшого квадрата. Между ними была протянута бечёвка.

Барсук сидел на камне у восточной стены и курил.

— Вы же обещали не копать.

— Я и не копаю, — он показал папиросой на колышки. — Я разметил. Это не одно и то же.

— Это ровно одно и то же, только с отсрочкой.

Барсук фыркнул, и вышло у него виновато.

— Садитесь, чего стоять. Камень тёплый.

Вера села. От камня и правда шло тепло, накопленное за день, и пахло нагретой пылью и крапивой.

— Объясните мне, — сказала она. — Вы взрослый человек, у вас профессия, вы про Прикамье читали. Дед вам сказал прямым текстом, что тут кто-то лежит. Чего вам ещё надо?

— Вот этого и надо.

— То есть?

Барсук долго затягивался, потом придавил папиросу о камень и спрятал окурок в спичечный коробок.

— Я шестой год с прибором хожу. Знаете, что я нахожу? Пробки от пива и советскую мелочь. Раз в год бывает пуговица с орлом, и я её месяц всем показываю. — Он повертел коробок в пальцах. — А тут человек, про которого местный дед знает, что он есть, и знает, что его на кладбище не повезли. Это не пуговица. Это факт, который нигде не записан.

— Он записан. У него есть свидетель, и свидетель сидит в четырёхстах метрах отсюда и точит косу.

— Он мне не расскажет.

— Мне тоже не рассказывает, — сказала Вера. — Это не повод брать лопату.

Барсук поглядел на неё сбоку, из-под козырька.

— А вы бы не взяли?

Вопрос был неудобный, и хуже всего было то, что честный ответ она знала.

— Я бы написала заявку, — сказала она наконец. — От-

крытый лист, археолог, антрополог, три месяца согласований и год ожидания. И, скорее всего, мне бы отказали, потому что памятник не поставлен на учёт.

— Вот, — он развёл руками. — А я за один вечер.

— А потом что? Вы вынете кости и положите их куда, в пакет из-под гвоздей?

Барсук промолчал, и по молчанию было ясно, что дальше пакета он не думал.

— Крестик вы вернули?

— Не вернул, — он сказал это без вызова. — Я его в рюкзак убрал, в боковой карман, и завязал. Верну, когда домой поеду, отдам в музей, я же обещал.

— Верните сегодня. В отвал, откуда взяли.

— Да чего ему сделается.

— Не знаю, — ответила Вера. — В том и дело, что я не знаю. Я знаю только, что дед запретил выносить и что дед тут единственный, кто сорок лет прожил и не пропал.

Барсук встал, отряхнул штаны и пошёл к колышкам. Вера решила, что он их сейчас выдернет, и он их не выдернул. Он подтянул бечёвку, которая провисла, и проверил натяжение пальцем.

— Я подумаю, — сказал он.

Из избы она вышла в шестом часу и первым делом посмотрела на солнце. Зачем-то ей нужно было убедиться, что оно ещё высоко.

Во дворе у Шадриных стучали и смеялись. Пахло дымом и тушёнкой. Гера что-то втолковывал толстому про свет, Барсук на корточках чинил ремень прибора, Жанна сидела на столе и болтала ногами.

Вера подошла и стала у стола, прижимая коробку к животу.

— Вы сегодня ночью собираетесь на мельницу?

— Собираемся, — кивнул Гера. — Костян ставит микрофоны на откосе, снаружи, как вы и сказали. Мы же договорились.

— Я хочу, чтобы вы сегодня не ходили. Один день, до завтра.

— А что завтра изменится?

— Завтра я съезжу в Сухую Гарь, там есть связь, и позволю одному человеку в архив, — она слышала, как неубедительно это звучит, и всё равно говорила. — Мне нужно проверить одну дату. Это займёт день.

Гера отложил ложку. Стало тихо, и Вера поняла, что сейчас ей ответят вежливо и окончательно.

— Мы сюда ехали шесть часов и два часа шли пешком, потому что машина села. У нас на этот выезд собрано по подписке двести восемьдесят тысяч чужих денег. Мы не полезем внутрь, не будем трогать муку и ничего не вынесем. Мы поставим два микрофона на откосе и уйдём спать. Всё.

— Я поняла.

— Не обижайтесь.

— Я не обижаюсь, — Она повернулась, чтобы идти, и остановилась. — Костя, у вас дневной материал на ноутбуке?

— Ну да, — толстый уже полез под куртку. — А что?

— Посмотрите, пожалуйста, кадр в мельнице, где вы снимали надпись на ларе. Разверните на весь экран и гляньте в дальний угол, за поставом. Слева, у метлы.

— А что там?

— Посмотрите. Я на телефоне видела мельком и решила, что это тень.

Толстый нырнул под куртку. Слышно было, как щёлкает тачпад.

Потом щёлканье прекратилось совсем.

Он сидел под курткой очень долго, и никто не говорил ни слова, и Жанна перестала болтать ногами. Наконец он стянул куртку с головы. Лицо у него было совершенно сухое, хотя минуту назад он взмок.

— Гера. Иди сюда.

Глава 3. Что на записи

Ноутбук поставили на стол, и все пятеро сгрудились вокруг, заслоняя экран спинами.

Кадр был снят широко, от двери. Тёмный сруб, косой столб света из щели в кровле, поставной короб. Справа за ним ларь с торцовой плахой, той самой, с тремя буквами. Костян вёл камерой слева направо, потом остановился на надписи и стоял на ней секунд двадцать.

— Мотай назад. К началу проводки.

Костян сделал.

Угол за поставом был самым тёмным местом кадра: туда не доставал ни свет из щели, ни фонарь. Первые секунды там не было ничего, кроме черноты и прислонённой метлы. Потом камера пошла вправо, свет сдвинулся, и в углу проступило.

Сначала это читалось как обыкновенная тень. Вертикальное светлое пятно, узкое, выше метлы примерно на треть, книзу шире.

— Это просвет между брёвнами, — сказал Барсук. — Там венец разошёлся, я видел.

— Там нет просвета. Я туда светила, стена глухая.

Костян отмотал ещё раз и пустил покадрово.

На третьем щелчке пятно сдвинулось. Не дрогнуло вместе с камерой, а сдвинулось само, отдельно от кадра, вбок и на

ладонь ближе. На четвёртом щелчке стало видно, что снизу у пятна две ноги, поставленные вместе. И что они не касаются пола: между пятками и досками была щель пальца в два.

На шестом щелчке пятно пропало совсем.

— Ещё раз, — сказал Гера совсем ровно.

Костян пустил ещё раз. Всё повторилось точно так же. Два кадра ничего, потом узкое светлое, потом ноги, потом пусто.

— Ну, это блик, — сказал Барсук. — Пыль в луче, знаешь, как бывает. Или мошка близко к объективу.

— Мошка не даёт ног, — произнесла Жанна, смотря в экран.

— Ты вообще молчи. Тебе ночью в окно стучали.

— И стучали! — огрызнулась девушка.

— Тихо, — Гера положил ладонь на крышку ноутбука, не закрывая. — Костя, сколько это по времени?

— Меньше секунды. Шесть кадров, двадцать пять в секунду.

— Хорошо, — Гера выпрямился и потёр бороду.

Вера увидела, что глаза у него блестят, и блестят не от страха.

— Хорошо, ребята. Вы понимаете, что у нас есть?

На это ему никто не ответил.

— У нас есть шесть кадров, которые бликом не объяснишь, потому что блик не меняет форму, — он говорил негромко, отсчитывая пальцем по столу. — И у нас есть звук, который мы запишем сегодня. Одно без другого — ерунда,

полтора миллиона просмотров и комменты «фейк». А вместе это уже другой разговор.

— Гера.

— Я вас слышу.

— Вы сейчас говорите как человек, который принял решение до того, как посмотрел материал.

— Я и принял, — он обернулся к ней без всякого раздражения, даже дружелюбно. — Я его принял в марте, когда собирал деньги. Это моя работа. Ваша — сомневаться, моя — снять.

Вера попробовала поговорить с ним ещё раз через час, когда Гера один вышел за околицу покурить. При остальных он не отступил бы никогда, и не из упрямства: у него и тут была аудитория, пускай из четырёх человек.

Он стоял у края выгона, спиной к деревне, лицом к сухому руслу, и стряхивал пепел в ладонь.

— Я вам покажу одну вещь и уйду.

Вера достала школьный журнал и открыла на восьмом листе.

Гера посмотрел. Потом взял тетрадь сам, перелистнул, ещё перелистнул, дошёл до конца и вернулся к началу.

— Это кто писал?

— Не знаю. Тетрадь пятьдесят третьего года, лежала на полатах в пустом доме под слоем пыли в палец, — Вера перевернула на последний лист. — Потрогайте край буквы. Только слегка.

Он потрогал, посмотрел на палец, серый от грифеля, и потёр его большим.

— И что это значит?

— Что писали недавно. Карандаш на бумаге закрепляется за неделю-две, потом уже так не пачкает, — она забрала тетрадь. — Я в этом разбираюсь, у меня половина работы с рукописями.

Гера молчал и глядел на русло.

— Кто-то из ваших мог?

— Кто-то из моих — это я. Я приехала вчера днём, а тетрадь лежала под пылью, которую никто не трогал. И я не умею писать детским почерком двадцать листов.

— Дед?

— Ему восемьдесят четыре, у него руки в узлах, я видела. Он бы так не нажал.

— Тогда я не понимаю, чего вы от меня хотите, — Гера бросил окурочек и придавил каблуком. Тщательно. — Вы мне показываете вторую улику за, а против не показываете ничего. Вы понимаете, что вы делаете?

— Я вам показываю, что тут работает что-то, чего мы не знаем, и что оно пишет «пусти», — Вера убрала тетрадь в сумку. — Слово «пусти» говорят изнутри. Снаружи говорят «впусти».

Гера поглядел на неё, и впервые за день у него сделалось неуверенное лицо.

— Ладно. Один вопрос, и отвечайте честно. Вы сами в это

верите? Не в смысле фольклора, а по-настоящему?

— Я не знаю. Я знаю, что старик сорок лет ходит туда дважды в неделю с мешком ржи и что он жив. А те четверо, что пропали, не ходили и не живы.

К старику Вера пошла сразу от выгона, с тетрадью в сумке, и застала его во дворе.

Он перебирал лук. Луковицы лежали на разостланном мешке, и он брал их по одной, обминал в пальцах, обрывал сухое перо и раскладывал на две кучи: которые в сетку, которые в еду сейчас.

— Садись, коли пришла. Только под руку не лезь, я собоюсь.

Вера села на ступеньку. Пахло сухой луковой шелухой, и она шуршала, когда её сносило ветерком с мешка.

— Тихон Ильич, я нашла тетрадь в Кобылинской избе. Школьный журнал пятьдесят третьего года, вы про него говорили.

— Ну.

— Половина исписана детским почерком. Одно слово, двадцать листов подряд.

Он не поднял головы и не сбился с ритма. Обмял очередную луковицу, оборвал перо, положил в левую кучу.

— Показать?

— Не надо.

— Вы даже не спросили какое слово.

— Нет.

Вера положила сумку на колени и не стала доставать тетрадь. Она поняла, что если достанет — он встанет и уйдёт в избу, и на сегодня всё кончится.

— Хорошо. Тогда я спрошу о другом, и это будет про даты, а не про неё, — она выждала. — Вы на мельницу ходите по какому счёту?

Тихон Ильич взял с мешка новую луковицу.

— По какому надо.

— Раз в неделю?

— Когда как.

— А раньше?

Вот тут он всё-таки остановился. Подержал луковицу в горсти, будто взвешивая, и положил её обратно на мешок, ни в одну кучу.

— Раньше раз в год было, — сказал он. — На Симеона. Один мешок ржи, и до следующего сентября никто туда не совался.

— С какого года стало чаще?

— С восьмьдесят четвёртого.

— Когда увели воду?

— Да, — подтвердил он.

Вера достала блокнот. Это было рискованно, но блокнот он терпел, это она уже проверила.

— И насколько чаще? Тихон Ильич, мне важно не любопытство. Мне важно понять, растёт это или стоит на месте.

Прежде чем ответить, он долго на нее смотрел. Потом отряхнул ладони одна о другую, сбивая шелуху.

— Отец в девяностом ходил раз в три недели. Я в двухтысячном — раз в две. Дальше считай сама, ты грамотная.

— А сейчас?

— А сейчас семь дней.

Вера записала и посмотрела на строчку. Тридцать два года по разу, потом месяц, потом три недели, потом две, потом десять дней, потом неделя. Кривая была понятная, и понятнее всего было то, где она кончается.

— Тихон Ильич. Через сколько лет это станет каждый день?

— Годов через пять, — сказал он. — Если по-прежнему пойдёт.

— Вы это считали.

— Я это считал в девяносто восьмом, — он снова взялся за лук. — Мне тогда пятьдесят семь было. Я посчитал и решил, что до этого не доживу, и успокоился.

— А теперь?

— А теперь считать нечего. Теперь оно и без счёта видно.

Вера сидела и слушала, как шуршит шелуха. Во дворе было жарко и мирно, и от этого разговор выходил ещё хуже, чем если бы они говорили в темноте.

— Что будет, если пропустить? — спросила она. — Один раз. Заболели, не дошли.

— Возьмёт само.

— Кого?

— Кто ближе.

Он сказал это без нажима, тем же голосом, каким говорил про лук и про Симеона, и поэтому Вера поверила ему сразу и целиком.

— Тихон Ильич, а вы не пробовали просто уехать?

— Пробовал, — он усмехнулся уголком рта, и усмешка вышла нехорошая. — В девяносто четвёртом. Сестра в Ушьё звала, у неё дом, огород, всё как надо. Я поехал.

— И?

— И через девять дней вернулся, — он взял последнюю луковицу и положил в правую кучу. — Ты вот что. Ты про это больше не спрашивай. Я тебе про даты сказал, потому что даты — они и в бумажке даты. А остальное не твоё.

Вера закрыла блокнот и убрала его в сумку.

— Последнее. Вы сказали, что раньше носили мешок ржи. А сейчас тоже рожь?

— Рожь.

— Одну?

Тихон Ильич поднялся, взял мешок за углы и стал ссыпать лук в сетку.

— Иди, девка, — сказал он. — Обедать буду.

Микрофоны Костян ставил до темноты, обстоятельно, и Вера стояла рядом, потому что деваться было некуда.

Он вбил в глину два колышка на середине откоса, метрах

в тридцати от мельницы. Надел на них ветрозащиту — мохнатые серые чехлы, из-за которых микрофоны стали похожи на дохлых сусликов. Протянул провода наверх, к камню, и поставил там рекордер в чехле.

— Два канала, — объяснял он, разматывая. — Один на мельницу, второй в сторону, на лес. Если звук пишется на оба одинаково, значит, он не оттуда. Значит, это, например, комбинат гудит за сорок километров, у них там дробилки. А если только на первый — значит, оттуда.

— А вы сами как думаете?

— Я думаю, что я хочу домой, — Костян вытер лоб. — Но я это думаю каждую поездку с шестнадцатого года, и ничего, езжу.

Он поглядел вниз, на чёрный сруб.

— Знаете, что меня напрягает? Что он смазанный. Я, когда снимал, подшипники посмотрел: солидол свежий. И петли на ларе свежие. Мужик в восемьдесят четыре года лазают под колесо с солидолом. Зачем?

— Чтобы не скрипело.

— Ага, — Костян невесело хмыкнул. — А кого он боится разбудить, если тут на десять километров никого?

Тихон Ильич весь этот день со двора не выходил.

Он видел из окна, как они шли на мельницу днём, и это было по правилу, и он не вмешался. Видел, как вернулись. Видел, как толстый сидел под курткой, а потом все стояли

вокруг стола и молчали. Слышать ему было не нужно: нашли что-то на своей машинке.

К вечеру он сделал то, чего не делал давно, — полез в подпол.

Там, за банками с прошлогодним огурцом, стоял ящик, а в ящике лежали бумаги отца. Он вытащил ящик наверх, поставил на стол и стал разбирать при керосиновой лампе. Электричества в Мельгунах не было тридцать три года.

Квитанции. Извещение о смерти на брата Степана, сорок третий год. Похоронная на дядю. Облигации займа, три штуки, сложенные аккуратно. Фотография, где мать стоит у забора с граблями и щурится. Ещё фотография, класс: три ряда детей на фоне бревенчатой стены, у всех руки по швам.

А в самом низу — тетрадка в клеёнчатой обложке. Отцовская, та, в которую он записывал, когда кормил.

Тихон Ильич открыл её и стал листать медленно, от начала.

Записи шли столбиком, одной рукой, без единого лишнего слова, одни только даты. С пятьдесят второго по восемьдесят четвёртый — по одной в год, четырнадцатого сентября, и так тридцать два раза подряд, ровно, как кардиограмма у здорового. Потом восемьдесят четвёртый, и с него всё ломалось. Сентябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Потом каждый месяц. Потом отец умер, в восемьдесят девятом, и дальше пошла его собственная рука.

Он смотрел на свои столбцы и видел то, чего раньше

не считал, потому что считать было незачем: промежуток ужимался, десятилетие за десятилетием, и ужимался он неуклонно. В девяностые — раз в три недели. В двухтысячные — раз в две. В десятые — раз в десять дней.

Нынешний август: второе, двенадцатое, двадцатое, двадцать седьмое.

Семь дней, потом восемь, потом опять семь.

Он взял огрызок карандаша, поспешил и приписал под последней датой то, чего в тетради не было ни разу за семьдесят два года.

«стучала в ларь 3 раза»

Подумал и дописал под этим ещё одну строку.

«след двойной, взрослый рядом»

Посидел, глядя на эти две строки, и закрыл тетрадь.

Взрослого следа он не понимал. Всё остальное в этом хозяйстве он понимал, пусть по-своему, по-бабкиному, а этого нет. Улька была одна. Улька всегда была одна, потому и брали малую да немую, чтоб одна. Так объясняла бабка Дарья, и так выходило по всему.

А теперь их стало двое. И второй шёл справа и держал за руку.

За окном стемнело, и он услышал, как у Шадриных хлопнула дверь и весело загалдели. Тихон Ильич задул лампу, чтоб не тратить керосин, и остался сидеть в темноте.

Перед самой темнотой Гера сходил к старику, и Вера по-

шла с ним, потому что не доверяла ни тому, ни другому.

Тихон Ильич сидел на крыльце и ужинал. Стояла миска с картошкой, рядом лежала половина луковицы и соль в спичечном коробке. Он посолил луковицу прямо на срезе и откусил.

— Тихон Ильич, мы ночью пишем звук, — сказал Гера.
— Снаружи, с откоса, как условились. Пойдёте с нами?

— Нет.

— Я не звать пришёл, я предупредить. Чтоб вы потом не сказали, что мы за спиной.

Старик прожевал и запил из кружки.

— Спасибо, что предупредил.

— Совета не дадите?

— Дам, — он отставил кружку. — Стойте наверху, у камня. Вниз не ходите. Свет ваш вниз тоже не пускайте, лучше вообще погасите.

— Почему свет?

— Потому что он до порога достаёт, — сказал Тихон Ильич. — А до порога доставать не надо.

Гера присел на корточки напротив крыльца, и Вера отметила, что он наконец перестал держать спину как перед камерой.

— А если мы что-нибудь увидим?

— Увидите — стойте.

— А если оно пойдёт к нам?

— Не пойдёт, — старик взял из миски картофелину и стал

её чистить ногтем. — Оно при работе занято. Пока постав идёт, оно при деле, и до вас ему дела нет. Вот как встанет — тогда другое.

— То есть после того, как гул кончится, надо уходить?

— Надо уходить до того, как кончится.

Вера слушала и понимала, что старик впервые за три дня даёт им не запрет, а инструкцию. И что инструкция эта подробная, как будто её много раз проверяли.

— Тихон Ильич. А вы сами почему сидите на пороге, если до порога доставать не надо? - спросила Вера.

Он поднял на неё глаза. Светлые, разбавленные, и в них не было ни раздражения, ни испуга.

— Так я же не свет, — сказал он. — Я мешок принёс.

— И это разница?

— Это вся разница и есть.

Гера поднялся, отряхнул колени и, кажется, хотел протянуть руку, но не протянул.

— Последнее, — сказал он. — Если мы сегодня запишем нормально, я это выложу. Вы понимаете, что сюда поедут? Сотни поедут, не пятеро.

Тихон Ильич дочистил картофелину и обмакнул её в соль.

— Понимаю.

— И вам всё равно?

— Мне не всё равно, — он откусил, прожевал, и лицо у него было такое же, как когда он перебирал лук. — Только мне восемьдесят четыре, и я не начальство. Я мешок ношу.

А кто сюда поедет и зачем, это уж вы между собой решайте, вы молодые.

Он доел, собрал шелуху в горсть и понёс миску в избу. На пороге обернулся.

— Гера.

— Да?

— Как гул станет спадать — уводи своих сразу. Не до-сматривай.

Они вышли в половине двенадцатого, все четверо, хотя договаривались, что пойдут двое.

Вера услышала их от палатки, вылезла и пошла следом, не окликая. Догнала уже на откосе, у камня с рекордером. Костян сидел на корточках в наушниках, Гера стоял, Барсук с Жанной устроились чуть выше.

— Тихо, — сказал Костян, подняв палец. — Пишем.

Ночь стояла такая же, как накануне. Светлая, безлунная, с белёсым августовским небом, и деревня за спиной казалась чёрной гребёнкой. Внизу под откосом стоял сруб. Колесо на фоне неба читалось хорошо: восемь метров, две выбитые лопасти.

Вера села на глину рядом с Герой, подтянула колени и стала ждать вместе со всеми.

Долго не происходило ничего. Раз в лесу за руслом крикнула птица, и Костян сморщился. Жанна дважды шёпотом спросила, сколько ещё, и оба раза ей никто не ответил. Ко-

мары шли тучей.

В двенадцать сорок внизу коротко стукнуло дерево.

Костян вскинул руку и замер, и в ту же секунду гул начался снизу и поднялся за несколько секунд, и Вера, сидевшая на земле, почувствовала его локтями и коленями раньше, чем слышала ушами.

Колесо тронулось, и пошло оно тяжело, с натугой, как идёт настоящее водяное колесо под настоящей водой. Сделало первый оборот, второй, и дальше пошло ровно. Вера смотрела на него не отрываясь и ловила себя на том, что ждёт, когда с лопастей польётся. До того правильно оно шло.

С лопастей не лилось ни капли, ни струйки.

— Господи, — сказала Жанна.

— Молчи. В микрофон.

Гул стоял на одной ноте. Поверх него, слабо, но различимо, шёл второй звук, сухой и сыпучий, с оттяжкой.

Гера поднялся на ноги, отряхивая ладони.

— Мука идёт. Слышите? Оно мелет.

— Сядьте, - сказала ему Вера.

— Я только посмотрю.

— Герман, сядьте! - шикнула она, но он не сел. Он стал спускаться, осторожно и боком, как спускался старик. Вера встала и пошла за ним, потому что оставаться наверху было хуже.

Внизу гул был уже не звуком, а состоянием: он шёл через подошвы в колени. Гера остановился шагах в десяти от стены

и задрал голову, и Вера стала рядом.

Колесо шло над ними, огромное, чёрное, с сухим шорохом по оси.

— Смотрите, — сказал Гера.

Дверь мельницы стояла открытой настежь.

Днём она была закрыта. Вера закрывала её сама, выходя последней, и подпирала колышком, как показал Барсук. Теперь она стояла настежь, а колышек лежал в стороне.

Внутри было темно, и из темноты ровно шёл гул.

— Я туда не пойду. И вы не пойдёте.

— Я одну секунду. Только от порога.

Он сделал два шага, и в этот миг в чёрном проёме что-то изменилось.

Не появилось и не выступило: изменилось, как меняется например вода, когда в глубине поворачивается рыба. Темнота в проёме стала у самого пола на оттенок светлее, и это светлое было узкое, вертикальное и стояло, не двигаясь.

Гера остановился на полушаге и не опустил ногу.

Вера смотрела и ясно понимала, что видит ровно то же, что было на записи. Узкое, выше метлы на треть, книзу шире. Только теперь оно не мигало шесть кадров, а стояло, и стояло долго, секунд десять. За эти десять секунд она успела заметить главное.

Оно стояло в проёме совершенно одно.

Потом рядом с ним возникло второе.

Оно вышло из глубины, из-за постава, и было выше на две

ГОЛОВЫ.

Второе положило руку на первое, сверху, на то место, где должна быть голова.

— Назад, — сказала Вера, и голос у неё сел. — Назад, медленно.

Он стоял и не двигался.

Тогда она взяла его за рукав и потянула. Он подался неожиданно легко, как подаётся человек без костей, и они оба пошли задом, не оборачиваясь. Шаг, ещё шаг, и глина под ногами хрустела так громко, что перекрывала гул.

В проёме светлое поменяло место. Оба разом, вправо, к косяку. И стали ближе.

— Бегом.

Они побежали, и бежали плохо, мешая друг другу.

Вера бежала вверх по откосу, по сыпучей глине, хватаясь за ивняк. Сзади тяжело, с хрипом, лез Гера. Сверху кричал Костян, и Жанна кричала тоже, что-то бессмысленное, и рекордер, кажется, упал.

Наверху, у камня, Вера обернулась.

Колесо шло. Дверь была открыта. В проёме не было ничего, кроме черноты.

Наверху, у камня, их ждал не один Костян.

Тихон Ильич стоял чуть в стороне от камня, с ружьём под мышкой, и ждал, пока они отдышатся. Вера увидела его и поняла, что стоит он тут не пять и не десять минут точно.

— Живые?

— Живые, — Гера согнулся, упёршись руками в колени.

— Тихон Ильич, там... там в дверях...

— Знаю.

Гера выпрямился и уставился на него.

— Вы знаете?!

— Я тебе с первого часу говорю: ночью не ходи, — старик не повышал голоса, и от этого выходило хуже. — Ты сходил. Теперь оно тебя видело, и теперь я тебе ничем не помогу.

Костян сидел на земле с рекордером в обнимку, а затем поднял голову.

— Их было двое. Я через микрофон слышал. Там ходили двое.

Тихон Ильич повернулся к нему всем корпусом.

— Как слышал?

— Шаги. Босые, по доскам, — Костян снял наушники и протянул ему, будто старик мог с ними что-то сделать. — Мелкие и крупные, - добавил он. - Крупные, как будто хромают.

В лице Тихона Ильича что-то изменилось, и Вера увидела это ясно, при белом ночном небе. Он не испугался. Он стал вспоминать.

— Хромают..., — повторил он за ним.

Потом развернулся и пошёл в деревню, и Вера пошла следом, потому что ноги сами собой ее за ним повели.

Он дошёл до своей калитки, остановился и положил руку на столб, и она была видна в темноте белым пятном.

— Тихон Ильич.

— Бабка моя говорила, — сказал он, не оборачиваясь, — что Матрёна Плахина, как девку отдала, с того дня ногу волочила. Правую. До самой смерти.

Вера стояла у калитки и не находила что сказать.

— Она в Мельгунах померла?

— В Мельгунах.

— А где похоронена?

Тихон Ильич толкнул калитку и придержал её.

— Нигде. Кладбище наше за гатью, туда возили. А Матрёну не повезли. Её схоронили под кузницей.

Глава 4. Под кузницей

Крестик Барсук вечером всё-таки убрал обратно в пакет, а пакет сунул в рюкзак. Утром его там не оказалось.

Выяснилось это не сразу. Утро вышло тяжёлое. Спали часа по три, Жанна не спала вовсе и просидела на крыльце с открытыми глазами до света. Гера молчал и трижды сам ходил проверять, заперта ли дверь, хотя замка на ней не было отродясь. Костян в шесть утра уже сидел за ноутбуком и гонял ночную запись по кругу.

— Вот. Слушайте.

Он дал Вере наушники.

Сперва шёл ровный низкий гул, тот самый, тяжёлый, на одной ноте. Потом поверх него проступил сыпучий шорох. А на четвёртой минуте, когда Костян убрал низ и поднял середину, в этой середине отчётливо пошли шаги.

Мелкие — частые, лёгкие, шлёпающие. И следом крупные, с коротким тянущим призвуком перед каждым вторым. Шаг, шаг-ш-ш, шаг, шаг-ш-ш.

— Правая, — сказала Вера и сняла наушники.

— Что правая?

— Она правую ногу волочила.

Костян посмотрел на неё, но ничего не спросил.

— Второй канал что?

— В том-то и штука, — он щёлкнул по вкладке. — Вто-

рой был направлен в лес, в противоположную сторону. На нём чисто. Ни гула, ни шагов, вообще ничего, кроме комара, который сел на ветрозащиту. Значит, источник строго с той стороны.

— Значит, не комбинат.

— Не комбинат, — Костян потёр глаза. — Комбинату я бы даже обрадовался.

Пропажу обнаружил сам Барсук, когда полез за завтраком.

Он вывернул рюкзак на стол, весь, до дна, вместе с носками и запасными батарейками. Потом перетряхнул спальник. Потом слазил под лавку с фонарём. Пакет лежал на месте, в боковом кармане, и в нём лежало всё: подковы, комок гвоздей, дужка от ведра, половина ножниц.

Крестика в пакете не было.

— Я его туда сам положил. Позавчера вечером при вас положил, вы стояли.

— Стояли, — сказал Гера.

— Пакет завязан был. Я его на узел завязал, и узел мой, я так вяжу.

— Кто-нибудь брал? — Гера обвёл всех взглядом, и взгляд задержался на Жанне на полсекунды дольше, чем на остальных.

— Ты чего на меня смотришь?

— Я не смотрю.

— Смотришь! Я к его рюкзаку не притрагивалась, мне вообще эта железная труха не сдалась!

Вера сидела с краю и молчала. У неё в голове стояла картинка: узкая светлая фигура в проёме и вторая, повыше, кладущая руку сверху.

— Барсук. Где именно вы его нашли? Точно.

— На отвале, — он вытер руки о штаны. — Там, где кузница была, справа от фундамента, есть кучка выброшенной земли, старая, уже задернелая. В ней.

— Покажете?

— Да хоть сейчас, — нервно усмехнулся он, а затем начал рыться в вещах по второму кругу.

Жанна собралась уезжать в одиннадцатом часу, и собралась она всерьёз.

Вера застала её во дворе с рюкзаком, уже застёгнутым. Жанна сидела на нём верхом и завязывала кроссовку, и делала это долго, потому что руки у неё не слушались.

— Я дойду до машины. Там кабина, там замок, я запрусь и буду ждать.

— Одна?

— Одна, — она дёрнула шнурок и порвала его. — Чёрт. Чёрт, чёрт.

Вера села рядом на корточки и молча протянула ей свой шнурок из бокового кармана, запасной, плоский, зелёный.

— Два часа по гати, — сказала она. — Сейчас одина-

дцать, дойдёте к часу, если не собьётесь. А там настил провален у третьего съезда, вы его видели, когда шли?

— Видела.

— Обходили по обочине?

— Обходили.

— Одна вы там не обойдёте. Там торф, он держит, пока идёшь с разгона, и не держит, если стоишь.

Жанна вдевала зелёный шнурок и не поднимала глаз.

— Вы меня пугаете, чтоб я осталась.

— Я вам говорю, как есть. Оставаться тут тоже плохо, я не спору.

— Тогда чего вы хотите?

— Чтобы вы дождались своих ребят и пошли вместе. Костя вроде, — Вера сделала небольшую паузу. Он собирается, я видела, у него рюкзак наполовину набит.

Жанна затянула узел, встала и поглядела на избу.

— Он не пойдёт. Он с шести утра сидит и слушает свою запись по кругу, как чокнутый. Он теперь не уедет, пока не поймёт, что там пишется.

— Тогда подождите до завтра, — Вера поднялась тоже. — Один день. Завтра я иду в Сухую Гарь звонить, и пойдём вместе.

— Вы вчера то же самое говорили.

— Говорила. Вчера меня не послушали, и вон что вышло.

Жанна помолчала, глядя на сухое русло за огородами. День стоял ясный, жаркий, и в такой день всё ночное каза-

лось глупостью, и по её лицу было видно, что она это чувствует и злится на себя за то, что чувствует.

— Ладно, — сказала она наконец. — До завтра. Но если ночью опять постучат, я уйду прямо в темноте, и вы меня не остановите.

Рюкзак она, впрочем, не разобрала. Так и оставила его стоять у стены, застёгнутым.

Кузница стояла на отшибе, как всегда ставили кузницы, метрах в ста от крайнего двора, ближе к руслу. Колышки Барсука торчали на прежнем месте, и бечёвка между ними висела натянутая.

Вера обошла фундамент по периметру, считая шаги. Выходило примерно шесть на восемь.

— Вот отвал, — сказал Барсук и показал носком ботинка.

Куча земли лежала у восточной стены, длинная, невысокая, вся в дёрне. Он был прав: её выкинули давно, лет тридцать назад, а то и больше.

— Кто копал, как думаете?

— Металлисты копали. Тут по всей деревне копано. Они ищут по фундаментам, потому что в кузнице всегда железо. Только эти копали неглубоко, на штык. Ленивые были.

Вера присела и взяла горсть земли с отвала. Земля была не как везде в Мельгунах: тёмная, почти чёрная, жирная. И пахла она кисловатым, как старый погреб, вовсе не землёй.

— Барсук, прибор при вас?

— При мне.

— Пройдите ещё раз внутри фундамента. Не спеша и всю площадь, не пропуская.

Он пожал плечами, надел наушники, раздвинул катушку и пошёл от угла полосами, как ходят по стерне. На третьей полосе остановился.

— Тут сплошняк, — сказал он громко, стянув один наушник. — Забито всё. Это не находка, это помойка железная, у кузницы всегда так. Шлак, окалина.

— А глубина?

— Прибор глубину не даёт, он только сигнал. — Барсук присел, поковырял ножом, вынул из-под дёрна плоскую тёмную лепёшку и показал. — Вот. Крица, отход. Их тут центнер.

Он выпрямился и сделал ещё два шага к середине, и прибор заорал так, что Барсук дёрнул головой и сорвал наушники совсем.

— Ох ты ж. Вот это масса!

Тихон Ильич пришёл через полчаса, сам. Его никто не звал.

Он подошёл не торопясь, стал в трёх шагах от фундамента и дальше не пошёл. Крапиву обошёл по краю, хотя проще было продраться.

— Чего ищете?

— Тихон Ильич, вы вчера сказали, что Матрёну Плахину

схоронили под кузницей. Вы это откуда знаете?

— Бабка сказала.

— А она откуда?

— А она при этом была, — он переступил с ноги на ногу.

— Ей тогда, считай, двадцать лет было. Она сама несла.

Барсук присвистнул.

— То есть тут реально человек лежит?

— Тут не человек лежит. Тут заложная лежит.

У Веры словно щёлкнуло что-то внутри. Так бывает, когда после долгой работы вдруг сходятся два куска, и она сразу поняла, что это важнее всего услышанного за три дня.

— Заложная. Тихон Ильич, вы понимаете, что вы сейчас сказали?

— Я-то понимаю. Ты понимаешь ли?

— Понимаю, — Вера проговорила это отдельно, следя за собой, чтобы не сбиться в лекцию. — Заложные покойники — те, кто умер не своей смертью. Утопленники, удушенники, опойцы, самоубийцы, проклятые. Их не хоронили на кладбище, потому что земля их не принимала. Их закладывали, отсюда и слово: в стороне, в овраге, под мостом, забрасывали сучьями и камнями, а сверху не ставили ничего.

— Складно говоришь, — сказал старик без насмешки.

— И клали их всегда за пределами жилого. Всегда. Это правило соблюдалось строже прочих, потому что заложный притягивает. А тут кузница в ста метрах от крайней избы.

Тихон Ильич посмотрел на неё, и она увидела, что смот-

рит он теперь прямо.

— Правильно. Потому и положили. Чтоб притянуло сюда, а не туда.

— Куда — туда?

— К мельнице, — он кивнул в сторону русла. — Матрёна-то, как девку отдала, так к мельнице и повадилась. Каждую ночь ходила. Сперва тайком, потом уж и не скрываясь. Сядет на порог и сидит до свету. Её и гнали, и запирали, и мужики её били — не помогло. Три года так ходила.

— А потом?

— А потом на крыльце её и нашли. Сидя, — он помолчал. — Мельник тогдашний, Гордей, сказал: на кладбище не повезём, а положим у кузницы, под наковальню. Железо, сказал, держит. Так и сделали. И триста метров от мельницы она с тех пор не подходила.

Костян записал всё это на диктофон, и Тихон Ильич, к общему удивлению, не возражал. На вопрос Веры только махнул рукой: пиши, мол. Зато он твёрдо сказал другое.

— Копать не дам.

— Мы и не собирались, — начал Гера.

— Собирались. — Старик посмотрел на Барсука. — Вон он уже глазами меряет, где ему яма встанет. И колышки его вон стоят, я не слепой.

Барсук покраснел до ушей и отвернулся.

— Тихон Ильич, я копать не буду. Но я обязана сказать вам одну вещь, и вы её выслушайте. Вчера ночью их было

двое. Вчера утром на глине лежал двойной след, я его видела, он ещё держался. Взрослый, с волочащейся правой. Если Матрёна семьдесят лет не подходила к мельнице ближе трёхсот метров, а теперь подошла — значит, то, что её держало, держать перестало.

Тихон Ильич на это не ответил.

— Барсук, покажите ему, откуда вы взяли крестик.

Барсук показал на отвал, на восточную сторону.

— Позавчера утром. Медный, маленький, с обломанной петелькой.

— Где он?

— В том-то и дело, что нету. Пропал за ночь.

Тихон Ильич очень медленно снял кепку, провёл ладонью по голове и надел обратно.

— Ну вот. Вот и всё, стало быть.

Он повернулся и пошёл к себе, и Вера догнала она его только у калитки.

— Объясните.

— Чего тут объяснять.

— Тихон Ильич, я не отстану. Я вчера чуть не осталась на том откосе.

Он открыл калитку, вошёл, но дверь за собой не закрыл. Это было приглашение, и она это поняла и вошла следом.

В избе пахло дымом, керосином и сушёным луком. Стол, лавка, печь, кровать с горкой подушек. На стене часы-ходики с оборванной гирей и фотография в рамке: женщина у

забора с граблями.

Тихон Ильич сел на лавку и показал ей на табурет.

— Крестик тот не в кузнице лежал. Он на Матрёне лежал. На груди. Его металлисты с землёй выкинули, когда на штык копали, а сами не заметили: мелочь медная. Он на отвале и провалялся тридцать лет, — он потёр колено. — Пока твой Барсук его не вынул.

— Вы хотите сказать, что крест её держал?

— Я говорю то, что мне бабка говорила. Клади её под наковальню, а крест ей на грудь положили чужой, детский. Свой у неё был, да она его сама сняла и в реку кинула, когда девку отдавала. Вот и положили ей другой, чтоб под ним лежала.

Вера сидела прямо и не шевелилась.

— Чей детский?

Тихон Ильич взглянул на неё коротко и отвёл глаза.

— Улькин. С девки перед тем сняли. Не под камень же ей в кресте идти.

В избе было тихо. Ходики не шли, гиля лежала на полу.

— То есть Матрёну семьдесят лет держал крест ребёнка, которого она отдала.

— Выходит, так.

— И позавчера его вынули из земли.

— Вынули, — старик мотнул головой в сторону русла. — А вчера ночью она у мельницы на пороге стояла и девку за голову держала. Я сам видал, снизу, от ивняка. Я раньше вас

туда пришёл.

Вера вышла от него в первом часу и пошла к палатке. Села и открыла ноутбук, хотя связи не было и ноутбук был ей не нужен. Ей нужно было сесть и подумать, а думала она только над клавиатурой.

Она набрала подряд всё, что знала, безо всякого порядка. Восемьдесят седьмой. Гордей кладёт Ульку под нижний камень, мельница встаёт намертво. Девятисотые: Матрёна три года ходит на порог и умирает там сидя. Её кладут под кузницу, под наковальню, на грудь — Улькин крест. Тридцать седьмой: пытаются разобрать постав, двое гибнут. Восемьдесят четвёртый: уводят воду, и колесо идёт по сухому. С этого года промежуток между кормлениями сжимается — год, месяц, три недели, две, десять дней, неделя. Позавчера из земли вынимают крест. Вчера впервые за семьдесят два года стучат в ларь, и впервые ложится двойной след.

Она смотрела на этот текст и понимала, что чего-то не хватает, и никак не могла понять что.

Потом она поняла.

Матрёна ходила к мельнице три года и умерла на пороге. Зачем ходила? Вера мысленно перебрала объяснения. Самое напрашивающееся — раскаяние, вина, материнская тоска — не годилось ни в какие ворота. Улька была ей приёммыш, чужая девка из сгоревшего двора, отданная добровольно и за телка.

Значит, не тоска, и значит, ходила она туда за чем-то.

Вера закрыла ноутбук и долго сидела, обхватив колени, глядя на крыши Мельгунов.

Три года. Каждую ночь. Сидя на пороге, не входя.

Точно так же, как сейчас сидит на пороге Тихон Ильич.

Обедать сели поздно, часа в три, и обед вышел молчаливый.

Гера открыл две банки тушёнки, вывалил в котелок и поставил на костёр, хотя в избе была печь и печь топилась. Костян принёс из машины ополовиненную бутылку и поставил на стол, но никто её не тронул, и она так и простояла, пока не нагрелась.

— Я вот чего не понимаю, — сказал Гера, помешивая в котелке. — Он же нас предупреждал с первой минуты. Прямым текстом, без загадок. Ночью не ходи, из мельницы не выноси. Всё.

— Он и про кузницу предупреждал, — сказала Вера. — Барсука лично, в первый вечер.

— Значит, он всё знает.

— Знает.

— Тогда почему он не рассказал целиком? — Гера поднял голову. — Не намёками. Сел бы и рассказал, как оно устроено, и мы бы уехали в тот же день.

Вера подумала, прежде чем ответить, потому что ответ у неё был, и он ей не нравился.

— Потому что он проверял это дважды и оба раза вышло хуже. Он мне сам сказал, в девяностые. Рассказал — люди не поверили и пошли смотреть. Рассказал по-настоящему, со всем — люди поверили и побежали ночью. Через гать, в темноте.

— И что?

— И он полгода не спал.

Костян поставил кружку.

— То есть он молчит, чтоб мы не бежали.

— Он молчит, чтобы мы не бежали ночью. Днём он нас не держит, — Вера оглядела двор. — Вы заметили? Он ни разу не сказал «не уезжайте». Ни разу за три дня. Он говорил только про темноту.

Гера снял котелок с огня и поставил на землю.

— Вера, скажите прямо. Мы утром уйдём?

— Уйдём.

— С Барсуком или без?

Вот этого вопроса она ждала с самого утра, и всё равно он пришёл не вовремя.

— С Барсуком, — сказала она. — Или я останусь.

— Одна вы тут не останетесь, это несерьёзно.

— Это единственное серьёзное, что я сегодня сказала.

Жанна, сидевшая на своём застёгнутом рюкзаке, поднялась и ушла в избу, ничего не объяснив, и дверью не хлопнула, а прикрыла её плотно, до щелчка. Через минуту оттуда донеслось, как она двигает лавку к стене.

К вечеру Костян доломал запись и позвал Веру в избу.

Он сидел на лавке, поставив ноутбук на табурет, и лицо у него было такое, точно он двое суток не ел.

— Я посчитал шаги, — сказал он. — Сорок восемь минут записи, шаги идут с четвёртой минуты и до конца. Мелкие и крупные.

— И что?

— А то, что они не ходят туда-сюда. Они ходят по кругу.

Он развернул к ней экран. На дорожке были расставлены метки, много, десятками, аккуратным частоколом.

— Вот смотрите. Тут они проходят мимо микрофона, громко. Потом уходят, тише, тише, совсем пропадают. Потом опять появляются, и опять громко, и опять мимо. Интервал одинаковый.

— Какой?

— Одиннадцать секунд, — Костян ткнул пальцем. — Ровно одиннадцать, я проверил по всей записи, разброс полсекунды. Это не человек, человек так не ходит. Так ходит... я не знаю, как это назвать.

— Так ходит привязанный, — сказала Вера. — Лошадь на корде. Коза на колу.

Костян посмотрел на неё и медленно закрыл ноутбук.

— Это я и не хотел говорить вслух.

Тихон Ильич за весь этот разговор у ямы не сказал больше ни слова, а когда пошли назад, свернул к руслу и спустился

к мельнице один, среди бела дня.

Вера видела с откоса, как он обошёл сруб кругом, как постоял у порога и как нагнулся, разглядывая ступеньки. Потом он выпрямился, вернулся к двери и что-то сделал — что, с откоса было не разобрать.

Она спустилась.

Старик подпирал дверь колом. Не тем колышком, какой ставил Барсук. Настоящей слегой в руку толщиной, вкопанной комлем в глину и упёртой в верхнюю доску.

— Зачем?

— Чтоб не хлопала.

— Тихон Ильич.

— Ну не хлопала, — сказал он с досадой. — Чего ты от меня хочешь? Я семьдесят два года эту дверь не подпирал. А нынче подпёр.

Вера посмотрела на ступеньки. Следов на них не было: ни белых, ни каких.

— Их не видно.

— Днём и не видно. Днём тут вообще ничего нету, ты хоть весь пол облазай, — он проверил слегу плечом и остался доволен. — Оно, девка, не в мельнице живёт. Мельница — короб. Оно под камнем живёт, а в короб выходит.

— А наружу?

— А наружу оно раньше не выходило.

Он сказал это и сам, кажется, услышал, что сказал. Затем какое-то время, постоял, глядя на подпёртую дверь, потом

махнул рукой и полез вверх по откосу, и лез он тяжело, оставливаясь через каждые несколько шагов.

Перед тем как идти к кузнице, Вера зашла в Шадринскую избу за фонарём и задержалась там дольше, чем собиралась.

Барсуково место было у печки. Спальник лежал скатанный, рюкзак стоял рядом, вывернутый утром и кое-как набитый обратно. Сверху, на чурбаке, который он приспособил под столик, лежали его вещи, разложенные так, как раскладывает человек аккуратный: спичечный коробок с окурками, катушка лески, точильный брусок, блокнот в клетку.

Блокнот она открыла, и открыла без колебаний, и потом об этом не жалела.

Там были записи по находкам, по всем шести годам. Дата, место, что поднято, на какой глубине. Почерк мелкий, сокращения свои, схемки на полях: стрелка на север, крестик, цифры. Последняя страница была заполнена позавчера.

«Мельгуны, кузн., отвал вост., дёрн, ~10 см: крест нателън. медн., оглавка утр., предп. XVIII».

Ниже, другим нажимом, видно, что писалось позже:

«Дед сказал — под кузн. лежит одна. Заложная? Спросить у В.».

А в самом низу листа, уже карандашом, а не ручкой, было дописано четыре слова.

«Она стояла у окна».

Вера постояла над блокнотом, потом закрыла его и поло-

жила точно как лежал, углом к бруску. Взяла фонарь и вышла.

Про окно она не сказала никому.

Барсука хватились в четыре часа.

Гера сперва не встревожился: тот уходил с прибором каждый день и пропадал по полдня. К шести стало не по себе. А в семь Костян сказал вслух то, о чём все молчали.

— Он к кузнице пошёл. Он с утра туда смотрел.

Они пришли туда впятером, со стариком, и увидели яму.

Яма была в середине фундамента, ровно внутри колышков. Аккуратная, штыка на четыре, с отвесными стенками, с выброшенной землёй, сложенной с одной стороны, как складывает человек, который умеет копать. Лопата лежала рядом, старая, найденная тут же в деревне, с подвязанным проволокой черенком. Прибор стоял, прислонённый к камню.

Барсука в яме и рядом с ней не было.

На дне ямы лежала наковальня. Тёмный ржавый брус килограммов на восемьдесят, повёрнутый рогом к востоку. Земля под ним была вскрыта не до конца: Барсук окопал наковальню с трёх сторон и, видимо, пытался её вывернуть, потому что с левого края под неё был загнан кол.

— Барсу-у-ук! — заорал Гера, сложив ладони. — Лёха!

Крик ушёл над сухим руслом и вернулся ничем.

Вера обошла яму и присела на корточки у старого, задернелого отвала. И увидела.

На свежей выброшенной земле лежали следы.

Маленькие, босые, узкие, с плотно сжатыми пальцами. Они шли от края ямы к отвалу, там разворачивались и уходили обратно. А там, где Барсук ставил кол, земля была утоптана мелкими пятками так, будто там долго и терпеливо топтались.

Поверх них, местами перекрывая, шли большие. Тоже босые, с глубоко вдавленной левой пяткой и смазанной, протянутой правой.

— Тихон Ильич, подойдите.

Старик подошёл, посмотрел и ничего не сказал.

— Он живой?

Тихон Ильич поглядел на солнце, стоявшее уже низко, над лесом за руслом.

— До ночи, может, и живой, — старик пожал плечами. — Но сказать вам это точно, я не могу.

Глава 5. Ночью пойдём смотреть

До темноты оставалось два с половиной часа, и Тихон Ильич потратил их на сборы, каких Вера от него не ждала.

Он ни с кем не разговаривал, ушёл к себе и загремел в сарае. Вера пошла за ним и стала в дверях, и он не прогнал.

Сарай был забит тем, что копится у человека, который сорок лет ничего не выбрасывает. Хомут, две косы, лагун под воду, сеть, смотанная на палку, ящики, банки, стопка мешков.

Тихон Ильич стащил с гвоздя брезентовую сумку и стал в неё складывать.

Сперва моток верёвки, толстой, пеньковой, старой. Потом свечу — витую, жёлтого воска, не магазинную. Потом жестяную банку из-под монпансье, в которой что-то пересыпалось.

— Что там?

— Соль с золой. Пополам.

Последним он взял с полки мешок ржи, не полный, килограммов на пятнадцать, и подтащил к двери. Вера увидела, как у него дрогнули колени, когда он его поднимал.

— Давайте я понесу.

— Ты его не понесёшь.

— Тихон Ильич, мне тридцать один год, а вам восемьдесят четыре.

Он выпрямился, отдышался и посмотрел на неё.

— Мешок к постову несёт Мелентьев. Так положено, и с восемьдесят седьмого года ни разу иначе не было. Иначе не примут.

— А если вы не дойдёте?

— А тогда и разговору конец.

Он завязал горловину, проверил узел, потом сел на чурбак и долго сидел, упершись руками в колени. Вера стояла и не мешала. За стеной сарая трещали кузнечики, и от нагретых досок пахло пылью и старым дёгтем.

— Ты вот что, — сказал он наконец. — Ты бумагу-то свою куда девала?

— Какую?

— Ту, с бабкиной фамилией.

— В рюкзаке. А что?

— Отдай её мне на ночь.

Вера не сразу поняла, а когда поняла, у неё похолодели пальцы.

— Зачем?

— Затем, что фамилия там прописана, — он смотрел в пол. — Дадут тебе руку — ты руку отдай, это ладно, это всякому. А бумагу с фамилией при себе не носи. Незачем ей знать, кто ты есть.

— Она и так знает.

— Может, и знает, — сказал Тихон Ильич. — А может и нет. Ты ей не помогай.

Перед уходом Вера сделала то, чего не делала ни в одной экспедиции, и делала это с неприятным чувством, будто пишет завещание.

Она достала полевой дневник, вырвала два чистых листа и переписала на них всё существенное. Фамилии, даты, устройство кормления, сжимающийся промежуток, слова старика про крест и про наковальню. Внизу приписала имена всех пятерых, свой домашний адрес и телефон заведующего кафедрой. Сложила листы вчетверо, завернула в пакет от батареек и сунула в жестянку из-под чая, а жестянку затолкала под камень у палатки, придавив сверху вторым.

Если утром её не будет, кто-нибудь найдёт. Не сегодня, так через месяц, или через год.

Справку с бабкиной фамилией она отдала старику отдельно, как он просил. Он не стал её разворачивать. Сложил ещё раз пополам, сунул в нагрудный карман рубахи и застегнул пуговицу, и на этом разговор о бумаге кончился.

У Шадриных дело было плохо.

Костян собирал вещи комом, запихивая в рюкзак сразу по три предмета. Когда Вера вошла во двор, он как раз пытался затолкать туда штатив, который не лез.

— Мы уходим. Сейчас, пока светло. Дойдём до машины, там заночуем в кабине, утром вытащим и уедем.

— До машины два часа хода по гати. Вы засветло не успеете.

— Значит, с фонарями.

— Костя.

— Не надо, ладно? — он бросил штатив в траву и наконец посмотрел на неё, и глаза у него были красные. — Я не герой, я оператор. Я снимаю заброшки шесть лет, и там везде одно и то же: крысы, гопники и голуби. Я не подписывался на... — он запнулся. — Вот на это я не подписывался.

— А Барсук?

Костян отвернулся и стал смотреть в окно.

— Мы сообщим в полицию. Как связь появится, сразу. Искать должны не мы. Искать должно МЧС, у них собаки, тепловизоры.

— Они приедут послезавтра.

— Значит, послезавтра!

— Барсука зовут Алексей?

— Алексей Гурин.

— Костя, послушайте меня одну минуту, — Вера села на край лавки, чтобы быть ниже его. — Я не уговариваю вас идти ночью к мельнице, вам туда не надо. Но вы сейчас уходите по гати вдвоём с Жанной, в темноте, через двенадцать вёрст болота. А то, что вчера ходило по мельнице, к мельнице никак не привязано. Оно вчера стояло у калитки вашей избы, мы видели следы.

Костян на это ничего не сказал.

— В избе четыре стены, печка и люди. На гати ничего.

Он сел на рюкзак и вытер лицо ладонями, и просидел так

с полминуты.

— Жанна не пойдёт без меня, — сказал он глухо. — А со мной она пойдёт куда угодно, хоть сейчас. Вот в чём беда-то.

— Тогда останьтесь оба. Одну ночь.

— А завтра?

— А завтра я иду в Сухую Гарь, и вы идёте со мной, и мы идём днём, втроём и по светлому.

Жанна вышла на крыльцо, когда Вера уже уходила со двора, и окликнула её с середины ступеней.

— Я вам одну вещь скажу, только вы не смейтесь.

— Не буду.

— Я днём спала часа два и видела сон, — Жанна обхватила себя руками, хотя было тепло. — Как будто я в той мельнице стою, а мне надо что-то отдать, и я не понимаю что. И там кто-то ждёт и не торопит. А я хожу и шарю по карманам, и в карманах пусто, и мне от этого стыдно. Вот именно стыдно, понимаете? Не страшно.

Вера остановилась у калитки.

— Долго ходили?

— Весь сон, — Жанна поёжилась. — Я проснулась и минут пять лежала и продолжала шарить. Руками, по-настоящему. По спальнику.

— Жанна, вы что-нибудь брали с мельницы?

— Ничего. Я туда один раз зашла и сразу вышла, мне душно стало, вы же видели.

— А из деревни?

Молчание вышло на секунду длиннее, чем нужно.

— Ложку, — сказала Жанна. — Деревянную, в Кобылинской избе, на полке лежала. Она красивая, старая, с обгорелым краем. Я хотела на полку дома поставить.

— Верните.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас, пока светло, — сказала Вера. — На ту же полку, тем же краем.

Жанна ушла в избу и вышла с ложкой, держа её двумя пальцами за ручку, брезгливо, как держат дохлую мышь. И пошла через улицу почти бегом.

Гера сидел в избе на кровати, и вот с ним оказалось хуже всего.

Он не собирался и спорить не стал. Он сидел, положив руки на колени ладонями вверх, и смотрел на них.

— Я его отпустил. Он утром сказал: схожу гляну. Я сказал: сходи.

— Он взрослый человек.

— Он взрослый человек, который поехал со мной за двести восемьдесят тысяч подписки, — Гера поднял голову. — Вера, вы вчера сказали про решение, которое я принял в марте. Вы правы были. Я в марте написал в анонсе: «Мы разберёмся, что там на самом деле». У меня это буквами написано, оно до сих пор висит.

Вера села на табурет напротив него.

— Вы пойдёте ночью?

— Пойду.

— Зачем?

Гера подумал, и думал он долго.

— Затем, что если я сейчас уеду, то всю оставшуюся жизнь буду человеком, который уехал и ничего не предпринял. Вообще ничего.

— Это плохая причина.

— Других у меня попросту нет, — ответил он и Вера не стала с ним спорить.

Свечу Тихон Ильич зажёл на полпути, у старого колодца посреди улицы.

Вера этого не ждала и чуть не прошла мимо. Старик остановил тележку, достал из брезентовой сумки витуую свечу, обломал с неё нагар и присел на корточки у колодезного сруба, с подветренной стороны.

— Подержи, чтоб не задуло.

Она присела рядом и сложила ладони домиком. Спичка у него погасла дважды, на третий огонь загорелся.

Он поставил свечу на сруб, прилепив воском, и стал смотреть на огонь, и смотрел долго, пока не натекла лужица.

— Это обряд?

— Это колодец, — сказал Тихон Ильич. — Тут воду брали, покуда река была. Двадцать один двор, и все отсюда.

— А свеча?

— А свеча, чтоб не одному идти.

Больше он не объяснил ничего, и Вера не стала спрашивать. Она сидела на корточках рядом со стариком у колодца в мёртвой деревне и понимала, что за три дня выучилась не задавать лишних вопросов.

Огонь стоял ровно, потому что ветра не было совсем. Ни в кустах, ни в крапиве, ни в бурьяне за палисадниками не шевелилось ничего, и это молчание не было тишиной. Так замолкают, когда в комнату входит тот, кого ждали.

— Тихон Ильич, а вы её видели когда-нибудь близко? Улю.

— Видел.

— Когда?

— В пятьдесят втором, — он поправил свечу, хотя та стояла ровно. — Отец меня взял первый раз, я тебе говорил. И я, дурак, обернулся.

— И что?

— И ничего. Стоит в дверях девка, ростом мне тогда по плечо. Босая, в кофте, — он помолчал. — Кофта справная была, вот что мне запомнилось. Не рвань какая, а хорошая кофта, вязаная.

Вера почувствовала холод в затылке, и холод этот шёл не от ночи.

Матрёна её вычёсывала. Соседки помнили, что Улька ходила в справной кофте.

— Она вас тронула?

— Нет. Отец меня за шиворот развернул и в загривок дал,

чтоб не глядел, — Тихон Ильич поднялся, держась за сруб. — А кофта у неё та же самая и посейчас. Вот ты мне объясни, учёная, как это выходит: девки сто сорок лет нет, а кофта цела.

Он взял тележку за ручку и покатил дальше, а свечу оставил гореть на срубе.

Вера оглянулась на неё уже от откоса. Огонёк стоял посреди улицы, маленький, жёлтый, и вокруг него на два шага лежал круг света, и в этом круге не было никого.

Костян перед самым выходом догнал Веру у калитки и сунул ей в руку что-то маленькое и тёплое от ладони.

— Возьмите. Диктофон, он на голосовой активации, включается от звука. Батареи на сорок часов.

— Мне не нужно.

— Нужно, — он держал её за запястье, пока она не сжала пальцы. — Вера, послушайте. Я шесть лет пишу звук. Я знаю одну вещь, которую не знают те, кто пишет картинку: ухо врёт сильнее глаза. Вы сейчас пойдёте туда и будете стоять в темноте и слушать, и через полчаса вам что-то начнёт казаться. Обязательно начнёт, это физиология, это у всех.

— И что мне с этим делать?

— Ничего. Просто потом сверите. Что на плёнке — то было, чего нет — того не было, — он отпустил запястье. — Это единственное, что меня самого держит. У меня вчера на откосе сердце в горле стучало, а я потом дома послушал и понял: я тогда половину не слышал вообще. Зато слышал

то, чего не слышал никто.

Вера положила диктофон в нагрудный карман и застегнула.

— Костя.

— А?

— Вы утром говорили, что уезжаете.

— Ну, говорил.

— А теперь даёте мне технику на сорок часов.

Костян потоптался и поглядел в сторону, на тёмные окна Кобылинской избы.

— Я уеду, — ответил он. — Завтра, с вами, по светлому. Только я хочу, чтоб оно записалось. Понимаете? Я не про канал и не про просмотры, мне на них теперь, честно говоря, плевать. Я про то, что мы отсюда уедем и через год начнём сами себе не верить. Вот так у людей и выходит, что ничего не было.

Стемнело в девять с небольшим, и стемнело быстро, как всегда темнеет к концу августа.

Пошли втроём. Тихон Ильич с мешком на тележке, Гера с фонарём и топором, взятым у старика в сарае, и Вера. Костян с Жанной остались в избе и заперлись, как умели: подпёрли дверь лавкой. Жанна через окно сказала вслед что-то, чего никто не разобрал.

У края откоса Тихон Ильич остановился и поставил тележку.

— Слушайте сюда. Повторять не буду.

Он говорил негромко и не оборачиваясь, глядя вниз, на чёрный сруб.

— Я иду один и захожу один. Сыплю зерно и сажусь на порог. Вы стоите тут, наверху, у этого камня, и вниз не идёте, что бы вы ни увидели и что бы ни услышали. Я вас звать не буду. Даже если услышите, что я зову, это не я.

— А если вам понадобится помощь?

— Мне помощь не понадобится. Мне там нечего бояться, меня не тронут, — он помолчал. — А вот вашего Алексея, если он там, они держат. И если он живой, он выйдет сам, когда постав пойдёт. Оно при работе занято.

— Почему занято?

— А потому что мелет, — Тихон Ильич повернул голову. — Оно, девка, пока работает, при деле. Все семьдесят лет так. Оно потому и требует чаще, что ему покоя нет.

Гера кашлянул в кулак.

— Тихон Ильич. Вы ведь не мельницу кормите, да?

Старик посмотрел на него очень внимательно.

— Не мельницу. Мельница — железо да дерево.

Он спустился, и они смотрели, как он спускается. Бокон, мелко, придерживая тележку, четыре минуты по откосу. Внизу его не стало видно, чёрное на чёрном, и слышно было только, как хрустит глина. Потом хруст прекратился, и стукнула дверь.

Ждали долго. Вера смотрела на светящуюся точку своих часов и видела, что прошло уже одиннадцать минут, а ничего не начиналось. Обычно, по словам старика, начиналось сразу, как только он садился на порог.

— Он вышел? — шёпотом спросил Гера.

— Не слышала.

На четырнадцатой минуте внизу коротко стукнуло дерево. И пошёл вал.

Гул поднялся из земли, как поднимался в прошлые ночи, и встал на одной ноте, и колесо тронулось. Восемь метров черноты, идущей кругом над сухой глиной. Вера почувствовала гул коленями и локтями, и на этот раз он показался ей другим. Тяжелее, с натугой, будто в жернове было что-то лишнее.

— Он на пороге. Вон, видите пятно? Это его спина.

— Вижу.

Шорох муки они слышали на второй минуте. А на четвёртой в чёрном проёме двери, справа от сидящего старика, началось движение.

Выходило оно иначе, чем накануне. Вчера светлое проступало внутри, в глубине, и стояло. Сегодня оно шагнуло через порог наружу, сразу, целиком, и перешагнуло через старика, не задев, и пошло по глине прочь от мельницы, к руслу.

Маленькое. Узкое, бледное, ростом с девятилетнюю, с тем размытым краем, какой бывает у дыма в безветрие.

Тихон Ильич на пороге не шевельнулся.

Следом вышло второе. Оно вышло медленнее и через порог перебиралось как через препятствие, и Вера увидела, как оно волочит правую. Плоско, боком, цепляя доску.

Оба остановились на глине, шагах в двадцати от мельницы, и повернулись.

Повернулись они наверх, к откосу, мимо старика.

Вера почувствовала это раньше, чем поняла. Что-то произошло с воздухом на откосе: он сделался плотнее и холоднее, точно снизу дохнуло погребом, и волосы на предплечьях встали.

— Они нас видят, — сказал Гера.

— Стойте на месте.

— Вера, они нас видят.

— Стойте!

Маленькое сделало шаг к откосу. Потом ещё один.

И тогда снизу, от мельницы, раздался голос Тихона Ильича. Громкий, сорванный, совсем не стариковский.

— Куда пошла?! А ну назад!

Он поднялся с порога. Вера видела, как его спина отделилась от чёрного проёма, как он шагнул вперёд, на открытое пространство, под колесо, и как зачерпнул рукой из жестяной банки и швырнул в их сторону.

В воздухе коротко блеснуло белым, как снегом из горсти.

Маленькое дёрнулось назад, как дёргаются от огня.

— Назад, я кому сказал! — он захромал к ним, загребая из банки и швыряя, и голос у него шёл с хрипом, но не пре-

рывался. — Кормлено тебе?! Кормлено! Так и сиди! Сиди в ларе, тебе сказано!

Он подошёл вплотную, и его сделалось видно между ними. Маленький, сгорбленный, с белой пылью, висящей во круг. Он швырнул последнюю горсть прямо в большое.

Большое отшатнулось, а потом протянуло руку.

Оно сделало это медленно, лениво. Подняло и вытянуло к нему ладонь, как протягивают руку человеку, которого зовут за собой.

Тихон Ильич остановился на месте.

И Вера не поверила глазам, — старик переложил банку в левую руку и подал правую.

— Не смейте! — крикнула она сверху.

Он не услышал или не стал слушать.

Они стояли так, старик и высокое бледное, и между их руками оставался промежуток в ладонь, и промежуток этот не сокращался. Вера стояла наверху, вцепившись в куст ивняка, и понимала с неприятной ясностью, что смотрит она не на нападение. Она смотрит на то, как договариваются.

— Ну? — сказал Тихон Ильич внизу, и в ночной тишине под остановившимся шорохом это было слышно отчётливо. — Ну, бери, коли надо. Бери, чего тянешь. Я тут один остался, тебе больше не с кого.

Большое руки его не взяло.

Оно постояло ещё секунды три, потом опустило руку, повернулось и пошло назад к мельнице, и маленькое пошло за

ним. Оба они не вошли в дверь. Они просто перестали быть у порога, и на этом всё кончилось.

Гул всё это время продолжал идти.

Тихон Ильич вернулся на порог и сел, и просидел до конца. Ещё двадцать с лишним минут, пока постав не отработал и колесо не встало.

Наверх он поднимался долго, минут десять, останавливаясь через каждые несколько шагов. Вера с Герой спустились навстречу до середины откоса, и он не стал возражать, когда Гера взял у него тележку.

Наверху он сел прямо на землю у камня.

— Тихон Ильич. Почему вы подали руку?

Он дышал тяжело, с присвистом, и ответил не сразу.

— Отец учил: возьмут за руку — отдай, — он вытер лицо ладонью. — Я семьдесят два года эту науку ношу и ни разу её не применил, потому что меня ни разу и не брали. А тут гляжу — тянет. Ну, думаю, вот оно и пришло.

— Вы хотели, чтобы она вас взяла.

Он посмотрел на неё через плечо.

— Хотел. Ты, девка, погоди осуждать. Тут ни зла нет, ни тоски. Я устал ходить, вот и всё.

— Почему она не взяла?

— А вот этого я не знаю, — Тихон Ильич покачал головой, и в голосе у него было настоящее, незапрятанное недоумение. — Ей меня брать резон прямой. Я кормлю, я и заклад, тут по всему сходится. А она не взяла. Стало быть, я

ей не гожусь.

Вера сидела рядом на земле и молчала.

— Или, — произнес он. — Ей теперь другое надо, — добавил старик и воцарилась гнятущая тишина.

Алексей Гурин вышел из мельницы в половине третьего, через час с лишним после того, как встало колесо.

Его увидел Гера. Он один остался сидеть на камне, когда Вера повела старика домой, и потом клялся, что не спал. Барсук появился в сером прямоугольнике двери, постоял и пошёл вверх по откосу. Шёл он сам, ровно, не падая.

Гера скатился ему навстречу и схватил за плечи.

— Лёха! Лёха, ты где был?!

Барсук посмотрел на него без всякого удивления.

— В яме. Копал.

Весь он был в сухой белой пыли: руки до локтей, лицо, волосы, одежда. Не глина — мука. Она лежала на нём ровным слоем, как лежит на мельниках, и не осыпалась, когда Гера его потрянул.

— Какая яма, ты сутки пропадал!

— Сутки? — Барсук сдвинул брови. — Да я час копал. Ну полтора.

Его привели в избу, посадили к печке, дали воды. Он выпил две кружки подряд, и Костян тут же принёс третью, и Жанна почему-то расплакалась и вышла в сени.

— Лёха, — Гера сел перед ним на корточки. — Ты пом-

нишь, как ты в мельницу попал?

— Я не был в мельнице.

— Ты из неё вышел двадцать минут назад. Я тебя видел.

Барсук мотнул головой, и вышло у него недоумевающе, без всякого упрямства.

— Я наковальню окапывал. Кол загнал, начал поддевать, и она пошла. А под ней доски. Я доски поднял, а там...

Тут он замолчал совсем.

— Что там?

— Не помню, — он потёр лицо, размазывая муку. — Вот прямо ничего не помню с того места. Помню, что доски поднял. Дальше — как вы меня за плечи трясёте.

Вера всё это время стояла у двери и смотрела на его руки.

Ладони у Барсука были стёрты. Не мозоли от лопаты. Сбиты в кровь на подушечках пальцев и вдоль внутреннего края, и кровь запеклась, смешавшись с мукой, в бурую корку.

Так стирают руки, когда очень долго скребут дерево изнутри.

— Барсук. Покажите ладони.

Он послушно раскрыл их и только тогда увидел сам.

Он смотрел на свои руки долго, секунд десять, поворачивая их так и эдак под светом фонаря, и лицо у него делалось всё более пустым.

— Я не знаю, — сказал он совсем севшим голосом. — Ребята, я не знаю, где я был.

Глава 6. Сухая Гарь

Вышли в семь утра, втроём, и первые полчаса шли молча.

Гать начиналась сразу за деревней, там, где кончались ого-роды и начинался ольшаник. Вера ждала настила, а увидела дорогу: обычную грунтовку в две колеи, разбитую, с лужами в колеях даже в такую сушь. Брёвна лежали под ней и показывались только местами — тёмные, окатанные, вылизанные колёсами до блеска, с торчащими вразнобой торцами.

— Это и есть гать? — спросила Жанна.

— Это её остатки, — Вера присела и постучала по торцу костяшкой. Звук вышел глухой и плотный, как от камня. — Настил положили давно, потом сверху сыпали грунт, потом опять сыпали. Сейчас его почти не видно.

— А под ним что?

— Под ним болото.

Жанна поглядела на обочину. Обочина была ровная, зелёная, в белых шариках пушицы, и выглядела она как обыкновенный луг.

— Не вздумайте сойти, — сказала Вера. — Пушица растёт по мокрому. Там торф, он пружинит, а под ним вода.

Костян шёл впереди с полупустым рюкзаком и всё оглядывался назад, на Мельгуны, пока их было видно. Потом дорога вильнула, ольшаник сомкнулся, и деревня пропала.

— Двенадцать вёрст, — сказал он. — Это сколько по-нор-

мальному?

— Тринадцать километров.

— Ага, — он помолчал. — А обратно тоже тринадцать.

Машина стояла на третьем километре, там, где провалило настил. Стояла она безнадёжно: носом вниз, с задранном левым задним колесом, и было видно, что лебёдкой её не вытащить, потому что зацепиться не за что, а ближайшая ольха гнилая насквозь.

Костян обошёл её кругом и пнул колесо.

— Полгода тут стоять будет.

— Позвоним из Гари в район, — сказала Вера. — Там должен быть трактор, у них лесхоз.

— Ага. Лесхоз.

Он открыл дверь, залез в салон и минуты три чем-то шуршал, потом вылез с пачкой сигарет и с зарядкой от телефона, которую сунул в карман машинально, хотя заряжать было не от чего.

Дальше дорога пошла ровнее и суше. Болото отступило, по сторонам встал сосняк на белом ягеле, и стало жарко. К десяти они вышли на просеку с линией электропередачи, и Вера с некоторым удивлением поняла, что успокоилась. Провода — вещь понятная и своя. Там, где висят провода, кто-то платит за электричество.

— Смотрите, — сказала Жанна.

На обочине, у самой опоры, стоял столбик. Деревянный, вкопанный, высотой по пояс, с прибитой сверху дощечкой,

и дощечка была свежая: желтоватая, струганая, повешенная года два назад.

На ней было выжжено электровыжигателем, коряво, но старательно:

«Гурин А. В., 1979–2012. Не ходи ночью».

Все трое остановились посреди пыльной дороги.

— Это однофамилец? — тихо спросила Жанна.

Вера достала телефон, проверила, нет ли связи, и сфотографировала дощечку. Связи по-прежнему не было.

— Гурин фамилия нередкая, — сказала она. — Но давайте не будем говорить об этом Барсуку.

Сухая Гарь оказалась живым посёлком, и живым по-настоящему: с магазином, с автобусной остановкой, с бетонными столбами, с собаками. Вера не ждала, что это окажется настолько странно. Три дня в Мельгунах переставили ей что-то в голове, и теперь обыкновенная деревня в двести дворов казалась ей шумной, как вокзал.

Связь появилась на въезде. Телефоны у всех троих начали трезвонить одновременно и звонили минуты полторы.

Костян отошёл к забору и стал звонить, и по спине его было видно, что говорит он с женой. Жанна села прямо на бордюр и уткнулась в экран.

Вера первым делом позвонила в райотдел.

Дежурный выслушал её внимательно и записал всё: имя, фамилию, дату рождения Гурина, обстоятельства, время от-

сутствия. Потом уточнил, нашёлся ли человек.

— Нашёлся.

— То есть он сейчас с вами?

— Он в Мельгунах, с двумя нашими.

— Живой, здоровый?

— Живой. Здоровый... Наверное, — Вера сделала небольшую паузу. — Он не помнит сутки.

Дежурный на том конце не отвечал секунды три.

— Пьяный был?

— Нет.

— Девушка, я вам так скажу, — голос у него сделался усталый, без всякой строгости. — Раз человек нашёлся, заявление о неизвестном отсутствии я принять не могу. Если он не помнит — это к врачу, в Устье, приёмный покой. Хотите, я вам номер дам.

— Хочу.

— И ещё, — он что-то переложил на столе. — Вы там надолго?

— Завтра уезжаем.

— Правильно. Уезжайте завтра.

И положил трубку, и вот эта последняя фраза Вере не понравилась больше всего.

Архив ответил со второго раза. Ольга Тимофеевна, которой Вера писала запрос ещё в июне, сняла трубку и обрадовалась так искренне, что Вере стало неловко.

— Верочка! Я вам три письма отправила, вы что, не читаете почту?

— Я в поле. Тут связи нет.

— Ой. Ну слушайте тогда сразу, у меня всё выписано, — в трубке зашуршало. — Плахина Нина Егоровна, тридцать восьмого года, ваша. Выбыла из Мельгунов в Устье двадцать второго февраля пятьдесят четвёртого. Не в июне, как вы думали, а в феврале.

Вера прижала телефон плечом и полезла за блокнотом.

— В феврале? Посреди зимы, в шестнадцать лет?

— Вот и я о том же. И выбыла не одна: с матерью, Плахиной Анной Ивановной. Дом за ними числился ещё два года, потом списали как ветхий.

— Ольга Тимофеевна, а причина выбытия указана?

— Указана, но формальная: «по семейным обстоятельствам», — опять зашуршало. — Но я, Верочка, полезла в загс, раз уж всё равно сидела. И вот тут интересно.

— Слушаю.

— У Анны Ивановны было двое детей. Нина ваша, тридцать восьмого, и вторая девочка, Плахина Лидия Егоровна, сорок пятого года рождения.

— Я знаю, — сказала Вера. — Мама говорила, что у бабушки была сестра и что она умерла в детстве.

— Умерла, — согласилась Ольга Тимофеевна. — Только знаете когда? Запись о смерти составлена двадцатого февраля пятьдесят четвёртого года.

Вера перестала писать и опустила ручку.

— За два дня до отъезда.

— За два дня. И вот что мне не нравится, Верочка, как архивисту. В графе «причина смерти» стоит прочерк. Ни «неизвестна», ни «несчастный случай». Прочерк, пустое место. За тридцать лет работы я такое видела раза четыре, и все четыре раза это означало одно: врача при составлении не было и никто ничего не осматривал. Записали со слов.

— Со слов кого?

— А вот тут распишитесь и получите. Заявителем указан Мелентьев Илья Тихонович, сосед.

Вера стояла посреди улицы Сухой Гари, у магазина, и смотрела на выцветшую вывеску «Продукты», и не видела её.

Илья Мелентьев. Отец Тихона. Тот, кто в восемьдесят четвёртом первым услышал сухой постав и пошёл с мешком.

— Ольга Тимофеевна, а место погребения там есть?

— Нету. Место не указано.

— Вообще?

— Вообще, — сказала архивистка. — Верочка, я вам скажу как человек, а не как справка. Когда ребёнок умирает и хоронят его нормально, там всегда есть кладбище. А когда места нет и причины нет, это, как правило, значит, что тела не было.

Фельдшерский пункт в Сухой Гари работал до двенадца-

ти, и Вера успела туда первой, ещё до магазина.

Доктора звали Раиса Петровна, была она лет сорока, в очках на цепочке, и выслушала Веру не перебивая, что само по себе было редкостью.

— Сутки не помнит, — повторила она. — А до этого пил?

— Не пил.

— Падал? Головой ударялся?

— Не знаю. Он сам не знает.

— Зрочки какие были?

Вера задумалась и поняла, что не посмотрела.

— Не обратила внимания. Было темно.

— Плохо, — Раиса Петровна сняла очки и потёрла переносицу. — Вы понимаете, что я вам сейчас скажу? Я вам скажу: везите в Устье, в приёмный покой, там томограф. Потому что выпадение суток — это либо травма, либо эпилепсия, либо отравление, либо психиатрия. Четыре варианта, и все четыре лечат в городе, а не тут.

— Я понимаю.

— А вы его не привезли.

— Он в тринадцати километрах, и машина села.

Фельдшерица надела очки обратно на нос.

— Мельгуны, — сказала она без вопросительной интонации.

— Мельгуны.

— Ясно, — она взяла бланк, что-то на нём написала и протянула. — Вот вам номер скорой в Устье и мой личный. Если

он начнёт заговариваться, если рвота, если зрачки разные — звоните с гати, там у опоры на просеке связь ловится, один палец, но ловится. Я приеду на своей.

Вера взяла бланк и сложила пополам.

— Раиса Петровна, вы туда ездили когда-нибудь?

— Один раз. В шестнадцатом году, — она посмотрела в окно. — Мальчика забирали, восемнадцать лет, из этих, с камерами. Он трое суток там пролежал, пока его друзья искали.

— Что с ним было?

— Ничего с ним не было, — сказала Раиса Петровна. — В том и дело. Никаких травм, анализы чистые, вода-электролиты в норме. Только пить ему трое суток было негде, а обезвоживания не было. Вы понимаете, что это значит?

— Нет.

— И я не понимаю. Я тогда написала в направлении: состояние неясной этиологии. Это, Верочка, у нас называется «доктор не знает».

Магазин работал до двух, и Вера успела в самый край.

Внутри было темно и прохладно, пахло хлебом и стиральным порошком. За прилавком стояла женщина лет шестидесяти в синем халате и смотрела телевизор, подвешенный в углу.

Вера купила хлеб, две банки тушёнки, печенье, батарейки и пачку свечей. Потом положила на прилавок шоколадку и

сказала:

— И вот это отдельно. Это вам.

Продавщица перевела взгляд с телевизора на неё.

— За что?

— За разговор, если вы согласитесь.

— Из Мельгунов, что ли?

— Оттуда.

Женщина выключила телевизор — не убавила, а выключила. Вера отметила.

— Я Валентина. Спрашивайте.

— Вера, - представилась она. - Скажите, вы деда Тихона знаете?

— Постава-то? Знаю, конечно. Он тут до девяносто восьмого каждую неделю бывал, пока автобус ходил, — Валентина сложила руки под грудью. — Мужик как мужик. Не пьёт, не буянит. Только дурной он.

— Почему дурной?

— А потому что сидит там один и не едет. Ему квартиру предлагали в Устье, по программе, я сама видела человека, который приезжал. Он не поехал.

— А причину называл?

— Хозяйство, говорит, — Валентина усмехнулась. — Какое там хозяйство, у него кур даже нету.

Вера выбирала, как спросить, чтоб не спугнуть.

— Валентина, а в Сухой Гари про Мельгуны что говорят?

— Разное говорят.

— А вы что скажете?

Продавщица поглядела на дверь, потом на окно, и это был совершенно деревенский жест, тот самый, который Вера видела в шести областях и всякий раз означал одно и то же: сейчас скажут правду и потом от неё откажутся.

— Я скажу, что туда ездить не надо, — сказала Валентина. — И что у нас все это знают, и молодые тоже. А ездят всё равно, потому что в интернете написано, что интересно.

— Валентина, я не про интернет. Я про то, что вы слышали от своих.

Женщина вытерла прилавок ладонью, хотя он был чистый.

— Мать моя оттуда, — сказала она. — Из Кобылиных. Уехала в шестьдесят первом, замуж вышла. Она про Мельгуны говорила одно: там хлеб не пекут.

— Как это?

— А так. У них там мука была, мельница своя, а хлеб не пекли, покупали привозной. — Валентина поглядела на Веру прямо. — Деревня при мельнице, а хлеб покупает. Где такое видано?

Клуб в Сухой Гари не работал уже лет пятнадцать, но в пристройке к нему сидела библиотека, и она была открыта.

Веру туда послала Валентина. Сказала: сходи к Зое, у неё папка.

Зоя Афанасьевна оказалась совсем старая, лет за восемь-

десять, и сидела она в кресле у окна, с вязаньем, а не за столом. Формуляры лежали стопкой и были, судя по слою пыли, не тронуты с весны.

— Мельгуны? — переспросила она и отложила спицы. — Так у меня про них папка есть, я собирала.

— Какая папка?

— Краеведческая. Мы в восьмидесятые всей школой собирали, по всему кусту. Дети ходили, записывали за стариками, — она поднялась, держась за подлокотник. — У меня и по Мельгунам есть, тетрадь целая. Только вы не обольщайтесь, там детский почерк и всё про колхоз.

Папка нашлась в шкафу, подписанная от руки: «Наш край. Материалы школьного краеведческого кружка. 1983–1986».

Вера разложила её прямо на подоконнике.

Про колхоз там и правда было много: надои, трудодни, кто где воевал, переписанные с районной газеты заметки. Мельгуновский раздел оказался тонкий, листов на двадцать, и состоял в основном из интервью, записанных восьмиклассницей Ирой Кобылиной со своей бабушкой.

На двенадцатом листе она остановилась и перечитала.

«Бабушка говорит, что раньше в деревне был обычай, который назывался ночь на Семёна. Я спросила, что там делали. Бабушка сказала, что мололи мешок и никому нельзя было выходить из дома. Я спросила, почему нельзя. Бабушка сказала, что чтобы не считали. Я не поняла и переспросила.

Бабушка сказала: кто на улице стоит, того считают».

Ниже, другим почерком, красной ручкой, было приписано учительской рукой: «Ира, это суеверие. Для стенгазеты не годится. Возьми лучше про уборочную».

— Зоя Афанасьевна. Эту Иру вы помните?

— Кобылину-то? Помню. Она в Ушье живёт, на почте работала, — старуха снова взялась за спицы. — Хорошая девочка была, дотошная. Всё ходила и записывала, покуда ей не сказали, что не надо.

— А кто сказал?

— Да я и сказала, — отозвалась Зоя Афанасьевна спокойно. — Я тогда завучем была. Мне из района позвонили и объяснили, что мы не тем занимаемся. Я и объяснила дальше.

Вера перелистнула ещё. Последние листы мельгуновского раздела были выдраны с мясом, и в скрепке остались корешки.

— А тут не хватает.

— Тут всегда не хватало, — сказала библиотекарьша, не поднимая головы. — Вы, милая, папку-то заберите. Мне её девать некуда, а вам, видать, надо.

Ждали автобус, которого не было, потом узнали, что он ходит по вторникам, а был четверг.

Костян с Жанной сидели на скамейке у остановки, и Костян держал телефон на весу, догружая что-то в облако, и телефон грелся у него в руке.

— Я всё выложил, — сказал он, увидев Веру. — Все шесть часов записи, сырьём, без монтажа. Три архива на разные диски. Если у нас тут что-нибудь случится, оно хотя бы останется.

— Правильно сделали.

— Вера, я вот чего думаю, — он поставил телефон на колено. — Я думаю, надо забирать Геру и Лёху и уходить сегодня. Прямо сейчас развернуться и идти назад, а к вечеру всем вместе выйти. Тринадцать туда, тринадцать обратно, да с ними ещё тринадцать. Ночь будет, конечно. Но ночь на дороге — это не ночь в деревне.

Вера подумала над этим, прежде чем ответить.

— Нет.

— Почему нет?

— Потому что Барсук сутки не ел и не помнит их, — сказала она. — Потому что Гере пятьдесят три и он вчера бежал вверх по откосу, и я слышала, как он дышал. И потому что тринадцать вёрст по гати в темноте — это как раз то, от чего я вас вчера отговаривала.

— А завтра что изменится?

— Завтра мы выйдем в шесть утра и придём сюда к обеду. По свету.

Костян посмотрел на неё, потом на Жанну, потом на пыльную улицу.

— Ладно, — сказал он. — Одну ночь.

Обратно шли тяжелее: с грузом и по самой жаре. Мимо дощечки у опоры Вера прошла не глядя, и Жанна тоже не поглядела, и вышло это у обеих само собой.

На третьем километре, у машины, Костян остановился и вдруг сказал:

— А вы заметили, что она стоит не там?

— Что?

— Машина, — он показал рукой. — Мы её бросили на той стороне провала, до. А она стоит на этой.

Вера обернулась и поглядела назад.

Провал в настиле был на месте: яма метра три длиной, с проломленными брёвнами и чёрной водой на дне. Машина стояла за ним, если считать от Сухой Гари. То есть со стороны Мельгунов.

— Костя, вы уверены?

— Я тут сидел и курил, когда мы её бросали, — он говорил медленно, и лицо у него делалось всё более растерянным. — Я точно помню, я на эту яму смотрел и думал, что вот же зараза, полметра не хватило. Мы её не переехали. Мы в неё сели.

Жанна подошла и встала рядом с ним.

— Она же не могла сама.

— Она и не сама, — сказал Костян. — Её кто-то перетащил. Через яму. Задом наперёд.

Вера обошла машину. Земля вокруг была сухая, каменной твёрдости, и никаких следов на ней не читалось: ни от

троса, ни от трактора, ни от чего. Она присела и заглянула под передний бампер.

Бампер был забит наглухо.

В решётку радиатора, в щели между пластиком и фарой, в подкрылки — везде, где было куда, набилось что-то белое. Плотно, слежавшимися комками, как набивается снег в колёсную арку. Только сейчас было лето.

Вера выковырнула немного ногтем и растёрла между пальцами.

Мука. Ржаная, обойная, сухая. За ночь она не отсырела, хотя роса выпадала.

— Костя, — сказала Вера, не поднимаясь. — Снимите это. Пожалуйста, снимите как следует, со всех сторон, и с крупняком.

— Что это?

— Это то, чего вы боялись. Что мы приедем домой и через год начнём сами себе не верить.

На обратном пути, уже за просекой, Вера достала папку и прочла её всю, на ходу, спотыкаясь о колеи.

Читать на ходу неудобно, но останавливаться не хотелось: солнце шло вниз, а идти оставалось километров восемь.

Интервью Иры Кобылиной со своей бабушкой занимало девять листов, и первые восемь были про уборочную, про войну и про то, как в сорок шестом ели лебеду. А на девятом девочка всё-таки вернулась к своему.

«Я спросила бабушку, правда ли, что в Мельгунах не пек-

ли хлеб. Бабушка сказала, что пекли, но не из своей муки. Я спросила почему. Бабушка сказала, что своя мука не для еды. Я спросила, для чего. Бабушка сказала: отдавать».

Вера перечитала это трижды.

— Костя.

— А?

— Скажите мне как человек со стороны, — она подняла глаза от листа. — Мельница мелет. Мука идёт в ларь. Дальше её сто лет ссыпали обратно, в яму под сливом. Никто её не ел, не продавал, скотине не давал.

— Ну.

— Зачем мельница?

Костян шёл и молчал шагов двадцать.

— В смысле — зачем молоть, если мука никому не нужна?

— Вот именно.

— Тогда получается, что нужна не мука, — сказал он медленно. — Нужна работа.

Вера сложила папку и сунула под мышку.

— Вот и я к этому пришла. Оно не ест. Оно занято.

— И что будет, если ему нечем будет заняться?

— Я думаю, мы вчера это видели, — произнесла Вера. — Постав отработал, колесо встало. И через час из мельницы вышел Лёха.

Жанна, шедшая позади, догнала их и пошла рядом, взяв Веру под локоть, чего раньше не делала ни разу.

— Значит, надо, чтоб оно мололо всё время, — сказала

она. — Всё время, без остановки. Тогда оно занято и никого не берёт.

— Зерна не хватит.

— А если не зерном?

Вера остановилась.

— В смысле?

— Ну, песок, — сказала Жанна, и было видно, что она додумывает на ходу и сама пугается. — Опилки. Землю. Оно же не ест, вы сами сказали. Ему работа нужна.

Вера посмотрела на неё и подумала, что за три дня Жанна с телефоном на вытянутой руке и Жанна сейчас сделались двумя разными людьми.

— Это надо спросить у деда, — сказала она. — Сегодня же.

В Мельгуны они пришли в восьмом часу, когда солнце уже висело над лесом за руслом.

Улица была пустая и тихая. У Шадриных не горел фонарь и не пахло дымом. Дверь стояла открытой настежь.

Гера сидел на крыльце. Он сидел, обхватив колени, и не поднял головы, когда они вошли во двор.

— Гера.

— Он ушёл, — сказал Гера.

— Кто?

— Лёха, — он всё-таки поднял лицо, и Вера увидела, что он плакал, и плакал давно, потому что глаза уже высохли. —

Часа в четыре. Сказал, что сходит поглядеть. Я его держал за руку, слышите? Я его держал. А он посмотрел на меня и сказал: пусти.

Глава 7. Хлеб не пекут

Барсука искали до темноты, и искали неправильно, и Вера это понимала с первой минуты.

Правильно было бы разбиться на пары, разметить участки и идти цепью. Но их было четверо, местность казалась открытой только на вид, и от мысли разойтись поодиночке всем делалось нехорошо. Поэтому шли кучей, кричали и светили фонарями во все стороны сразу.

Мельницу осмотрели первой. Слега, которой старик подпёр дверь, лежала в стороне, отброшенная шагов на пять. Внутри было пусто: ни Барсука, ни следов, ни муки на полу. Гера посветил в ларь, не спрашивая разрешения ни у кого, и Вера не стала его останавливать.

— Пусто, — сказал он. — Совсем пусто. Дно голое.

— Дайте посмотрю.

Ларь был сухой, чистый и вылизанный изнутри, как вылизана посуда, которую вымыли очень давно и с тех пор не трогали. По дну шли борозды. Тонкие параллельные царапины, десятками, местами накрест, и все примерно с ладонь длиной. Инструмент таких не оставляет.

Вера выпрямилась и не сказала вслух, на что это похоже. Она знала, на что: на ладони Барсука, стёртые до крови.

Первым нашёл след Костян, и нашёл он его там, где никто не искал: на пороге Шадринской избы.

Он пошёл за фонарём и остановился на середине двора, и стоял так долго, что Вера подошла посмотреть.

На нижней ступеньке крыльца лежал отпечаток ботинка. Большой, сорок четвёртого размера, с крупным протектором, забитый белым. В муку тут никто не наступал. Наоборот: сама подошва была в ней, и мука осыпалась с неё на доску, повторив рисунок.

— Это Лёхин, — сказал Костян. — У него «Гарсинги», я такие сам хотел брать.

— Свежий?

— Не знаю. Вечером я тут ходил и не заметил.

Вера присела и посветила вдоль крыльца. Второй след лежал на верхней ступеньке, третий на пороге. Все три смотрели носками внутрь, в избу.

Обратных следов не было ни одного.

— Он входил, — сказала она.

— Когда?

— Сегодня. После того как ушёл.

Гера принёс второй фонарь, и они обыскали избу заново, хотя обыскивали её час назад. Ничего не изменилось: рюкзаки на месте, спальники на месте, Барсуков чурбак с разложенными вещами тоже.

Только блокнота на нём больше не было.

Вера проверила дважды, отодвинула чурбак, посмотрела под ним и за печкой. Точильный брусок лежал, катушка лески лежала, спичечный коробок с окурками лежал. Блокнот

в клетку исчез.

— Он за ним возвращался, — сказал Гера.

— Похоже на то.

— Зачем человеку, который... — он не договорил и начал иначе: — Зачем ему блокнот?

Вера не ответила, потому что ответ у неё был и озвучивать его она не хотела.

Человек, который ведёт учёт шесть лет, возвращается за ним. Даже, если он уже ведет не для себя...

Яму у кузницы проверили второй. Наковальня лежала на дне, как лежала и кол торчал под ней с левого края. Под наковальней земля была нетронутая, слежавшаяся, и никто её не поднимал.

— Он говорил, что доски поднял, — сказал Костян.

— Говорил.

— А досок нет.

— Верно, — согласилась Вера.

К девяти стало ясно, что искать больше нигде. Обошли все двадцать один двор, заглянули в сараи, покричали с откоса вниз и вверх по руслу. Ответа не было никакого, даже эха: воздух стоял такой густой и неподвижный, что крик в нём вяз.

Папку с краеведческими материалами Вера отдала Гере ещё в начале поисков, чтобы занять его хоть чем-нибудь, и

он читал её у костра, пока остальные носили воду.

— Тут про вашу деревню три страницы, — сказал он старику. — Написала девочка Ира Кобылина в восемьдесят четвёртом. Со слов бабки.

— Ирку помню. Она у Кобылиных младшая, шустрая была.

— Вы не хотите послушать?

— Читай, коли охота.

Гера нашёл место и прочёл вслух, и читал он хорошо, потому что читать вслух было его работой:

— «Я спросила бабушку, что было в деревне самое старое. Бабушка сказала, что самое старое — это ряд. Я спросила, что такое ряд. Бабушка сказала, что это порядок, кому за кем ходить. Я спросила, ходить куда. Бабушка сказала, что я маленькая и мне рано».

Тихон Ильич слушал, глядя в огонь.

— Ряд, — сказал он. — Ну да. Ряд был.

— Что за ряд?

— Очередь, — старик подкинул щепку. — Мельница чья? Мелентьевых. Значит, и носить Мелентьевым. А Мелентьевых в деревне семь дворов было, и в каждом мужики. Ходили по очереди, по году. Записывали на притолоке зарубками, чтоб не спорить.

— А потом?

— А потом дворов стало шесть. Потом четыре. Потом два, — он поглядел на свои руки. — Ряд, он покуда есть кому в

нём стоять. Я в этом ряду последний, за мной никого.

— И что будет, когда вы...

— А ты у неё спроси, — сказал Тихон Ильич и кивнул в сторону Веры. — Она фамилию свою знает.

Тихона Ильича они нашли у себя во дворе, и нашли не сразу, потому что в избе было темно.

Он сидел на чурбаке у сарая, в темноте, и ничего не делал. Сидел, положив руки на колени, и всё.

— Вы знали, — сказал Гера.

— Знал.

— И не остановили?

— Я его в четыре часа за плечо взял, — ответил Тихон Ильич. — Он мне руку снял с плеча и дальше пошёл. Мне восемьдесят четыре, ему сорок. Я за ним не побегу.

Гера открыл рот и закрыл его, ничего не сказав.

— Ты на меня не кричи, — сказал старик без всякого сердца. — Ты лучше сядь. Разговор будет.

Сели во дворе, кто на чурбак, кто на землю. Вера достала из рюкзака свечи, купленные в Гари, и старик покачал головой, и тогда она достала фонарь и поставила его торчком, чтобы светил в небо.

— Тихон Ильич, я сегодня была в архиве, — начала она.

— Точнее, звонила. И в библиотеке была.

— Ну.

— В пятьдесят четвёртом году в Мельгунах умерла девочка. Плахина Лида, девяти лет. Двадцатого февраля. Причина

смерти в записи не указана, место погребения тоже. Заявителем указан ваш отец.

Старик на чурбаке не пошевелился.

— Через два дня после этого моя бабушка с матерью уехали отсюда навсегда. В феврале, посреди зимы, — Вера говорила ровно, следя за голосом. — А в Кобылинской избе лежит школьный журнал пятьдесят третьего года, наполовину исписанный словом «пусти», и грифель на нём свежий.

Тихон Ильич поднял на неё голову.

— Лида, — повторил он.

— Вы её помните?

— Мне тогда двенадцать было, — он потёр колено. — Помню, конечно. Она в первый класс ходила, косички у ней были такие, кренделем. А я её на санках возил, потому что от школы горка.

— Что с ней случилось?

Старик молчал долго, и Вера уже решила, что он опять уйдёт от ответа.

— Отец кормил в сентябре пятьдесят третьего, — сказал он наконец. — А в ноябре слёг. Воспаление лёгких, тогда это дело было нешуточное, антибиотиков в деревне не водилось. Прележал до самого Рождества.

— И пропустил кормление.

— А кормление в ту пору было одно, на Симеона. Он его не пропускал, он его отработал, — Тихон Ильич поднял палец. — Ты слушай точно. Он отработал сентябрь, а после

слёг. И в декабре вышел на мельницу сам. Первый раз в жизни не по сроку.

— Зачем, если срок был отработан?

— А затем, что оно звало.

Гера перестал вертеть в руках фонарь.

— В смысле звало?

— В самом прямом, — ответил старик. — Мы в декабре все это слышали, вся деревня. Постав шёл ночами. Не всякую ночь, через две на третью. Воды-то ещё полно было, речка подо льдом, а колесо крутилось.

— И что сделали?

— А что сделали, — он усмехнулся, и усмешка была нехорошая. — Собрались мужики и решили кормить сверх срока. Мешок в неделю. Возили всю зиму, до февраля. Зерна ушло страшно, у нас в марте семенного не осталось, в район ездили кланяться.

— Помогло?

— Не помогло.

Он замолчал и стал смотреть куда-то в темноту, за палисадник, и Вера ждала, не подгоняя.

— Девятнадцатого февраля постав пошёл среди бела дня, — сказал Тихон Ильич. — При солнце. Часа в два. Вся деревня стояла на берегу и смотрела, как крутится колесо, и никто к нему не пошёл, ни один. Я сам стоял, вот как тебя вижу.

— Долго крутилось?

— До темноты. А как стемнело, встало.

— А на другой день пропала Лида, - произнесла Вера и взгляд Тихона изменился.

— Не пропала, — Старик повернулся к ней. — Тут ты, девка, не путай. Она никуда не пропадала. Она пришла.

Вера почувствовала, как под ложечкой сделалось холодно.

— Куда пришла?

— Домой, — он говорил теперь совсем ровно, и от этой ровности было хуже всего. — Утром двадцатого её хватились, потому что в постели нет. Анна Ивановна выскочила, кричит. А девка сидит на крыльце, снаружи, босая, в одной рубаше. На морозе, а мороз стоял под тридцать.

— Живая?

— Живая. Тёплая, — Тихон Ильич поднял руку и подержал ладонь в воздухе. — Вот в том и дело, что тёплая. Босая, на снегу, всю ночь просидела — и тёплая, как из печи. Её в избу занесли, а она не говорит ничего. И весь день не говорила. И вечером не говорила.

— А потом?

— А потом она пошла обратно.

Старик сказал это и надолго замолчал, и торопить его никто не стал.

— Её держали, — сказал он наконец. — Всей семьёй держали, вчетвером. Она не вырывалась, не кричала. Она просто шла. Ты понимаешь разницу? Не бежала, не билась. Идёт себе, а её тянут назад, а она идёт. Как трактор. Девять лет

ребёнку.

— Господи, — выговорила Жанна.

— Отец мой пришёл к вечеру, — продолжал Тихон Ильич. — Посмотрел и сказал Анне: отпусти. Она не поняла сперва. Он говорит: отпусти, хуже будет. Она ему в лицо вцепилась, я помню, у него царапины потом две недели были.

— Он что, велел её отпустить?

— Он велел её отвести, — старик посмотрел на Веру. — Это разное. Отпустить — это чтоб она сама шла. Отвести — это чтоб её взрослый за руку довёл. Он сказал: если сама пойдёт, она по дороге станет чья попало. А коли за руку довести, то дойдёт как надо.

В темноте было слышно, как в траве за палисадником стрекочет кузнечик, один-единственный.

— И кто отводил?

— Мать. Анна Ивановна.

Вера сидела, обхватив колени, и смотрела на фонарь, стоявший торчком.

— А потом?

— А потом Анна вернулась одна, к утру. И через два дня они с Ниной собрали что унесли и ушли пешком в Гарь, — Тихон Ильич пожал плечами. — Дом бросили как стоял, с посудой. Я туда мальчишкой лазал, у них там даже ухват на месте был.

— Тихон Ильич.

— Ну.

— Если Лиду отвели туда же, — сказала Вера, и собственный голос показался ей чужим, — то почему она не под камнем? Под камнем Улька.

Старик поглядел на неё долгим взглядом.

— Соображаешь, — сказал он. — Правильно соображаешь. Вот и я всю жизнь соображаю.

Ужинать сели в двенадцатом часу, потому что никто не хотел есть и никто не хотел расходиться.

Вскрыли купленную в Гари тушёнку, порезали хлеб. Хлеб был обычный, сухогарьский, кирпичик, уже подсохший за день в рюкзаке.

Тихон Ильич взял ломоть, подержал в руке и положил обратно.

— Тихон Ильич, я вас спрошу, и вы не обижайтесь, — Вера отставила миску. — В Сухой Гари мне сказали, что в Мельгунах не пекли хлеб. Покупали привозной. Это правда?

— Правда.

— Почему?

— Потому что из своей нельзя.

— Из какой своей? Мука же уходила обратно в яму.

— Из своей ржи, — ответил Тихон Ильич. — Мы рожь сеяли, и много. А молоть возили в Ушье, за сорок вёрст, на паровую. Свою мельницу под свой хлеб не пускали с двенадцатого года.

— Что было в двенадцатом?

Старик взялся за кружку и подержал её в обеих ладонях.

— Работник один взял из ларя, — сказал он. — Полпуда.

Испекли дома два каравая, съели всей семьёй. Семья цела осталась, а его на четвёртый день во дворе нашли. Мёртвого. И полон рот муки.

Костян осторожно положил ложку на стол.

— То есть мука из ларя — она...

— Это не мука. Это то, что намолото, — Тихон Ильич отпил. — Ты в ларь загляни и увидишь мешки. А мешков там нет. Никогда не было. Мешки — это чтоб понятнее.

Вера почувствовала, что подходит к чему-то важному, и заставила себя спрашивать медленно.

— Тихон Ильич. Что оно мелет, если зерно пропадает, а муки не остаётся?

— Срок.

— Что?

— Срок оно мелет, — сказал старик просто. — Мешок ржи — это, считай, месяц. Раньше мешка на год хватало, а нынче на неделю. Потому что жернов сточился.

— Жернов не сточился, — сказала Вера. — Я смотрела, насечка свежая.

— Насечку я сам быю. Каждую весну, зубилом, второй десяток лет, — он поставил кружку. — А стачивается не камень, девка. Стачивается то, что под камнем.

В избе сделалось так, что стало слышно ходики, а ходики не шли.

— Улька, — сказала Вера.

— Улька. Её на сто лет клали, а прошло сто тридцать восемь. — Тихон Ильич посмотрел на свои руки. — Она сносилась. Как подшиппник сносился. Мелет, да не мелет.

— И поэтому надо чаще.

— И поэтому надо чаще. А после и чаще не поможет.

Гера подался вперёд, к фонарю.

— И что тогда?

— А тогда новую, — сказал Тихон Ильич.

Тихон Ильич за весь ужин почти ничего не съел, а под конец отодвинул миску и сказал то, ради чего, видимо, и сидел с ними.

— Я нынче не пойду.

Вера подняла голову от миски.

— В каком смысле не пойдёте?

— В прямом. Срок мой послезавтра, второго, — он придвинул к себе кружку и не стал пить. — А нынче не пойду, потому что рано. Пойдёшь раньше срока — приучишь. Оно и станет требовать по-новому.

— Тихон Ильич, вчера оно требовало через семь дней. Позавчера вы сами сказали, что в августе кормлено четыре раза.

— Так то по сроку было. Второго, двенадцатого, двадцатого, двадцать седьмого, — он поглядел на Веру. — Я тебе, девка, одно скажу: я этот счёт семьдесят два года веду. Я знаю, когда рано, а когда впору.

— А вчера вы ходили не по сроку.

Старик подумал, прежде чем ответить.

— Вчера был другой случай.

— Какой?

— Вчера ваш парень в яму полез, — Тихон Ильич поставил кружку. — Я ходил не кормить. Я ходил торговаться.

Гера отложил ложку в сторону.

— Вы... что?

— Мешок принёс и руку подал, — сказал старик. — Мешок — это плата. Рука — это залог. Я ей говорю: бери меня, а тогопусти. Она подумала и не взяла. Парня, однако, отпустила.

— Она отпустила его на сутки, — сказала Вера.

— На сутки, — согласился Тихон Ильич. — А я и просил на сутки. Больше у меня не было чем платить.

Наступило молчание, и в этом молчании Вера отчётливо поняла две вещи. Первая: старик торгуется с этим всю жизнь и торгуется грамотно, как торгуются на базаре, зная цену и не уступая сразу. Вторая: у него кончился товар.

— Тихон Ильич. У вас рожь в сенах. Сколько осталось?

— Три мешка и початый.

— Три с половиной месяца при нынешнем сроке.

— Три, — поправил он. — Один початый на треть.

Костян придвинулся ближе к фонарю и понизил голос.

— А если ему привезти? Вагон привезти, десять тонн. Комбинат же рядом, у них техника.

— Привези, — сказал старик спокойно. — Оно тебе спасибо не скажет.

— Почему?

— Потому что дело не в ржи, — сказал Тихон Ильич. — Рожь — это сколько. А вопрос не сколько, а кто несёт.

Расходились в первом часу, и Вера пошла к Шадриным, а не к палатке: спать одной на выгоне она сегодня не собиралась, и никто ей этого не предложил.

Свечу, купленную в Гари, Вера всё-таки зажгла — в избе, на подоконнике, когда все улеглись.

Гера ещё не спал и смотрел на огонёк с кровати.

— Он сказал: ряд, — голос у Геры был сиплый от крика на поисках. — Вера, вы поняли, что он имел в виду?

— Поняла.

— Объясните мне. Я весь вечер думаю и не в голове все у себя сложить.

Вера села на лавке, подтянув колени под одеяло.

— Счёта тут два, и мы их всё время путаем. Первый — кто под камнем. Это Улька, и это плата, разовая, за постройку. Второй — кто носит мешок. Это Мелентьевы, и это служба, постоянная, из поколения в поколение.

— Ну.

— Плата стёрлась. Это он и говорит: жернов сточился, надо новую, — она смотрела на пламя. — А служба кончается сама собой. Он последний. За ним пусто.

Гера сел на кровати.

— То есть нужны двое.

— Нужны двое, — сказала Вера. — Тот, кто ляжет, и тот, кто будет ходить.

— И он сегодня сказал вам: спроси у неё, она свою фамилию знает.

— Сказал.

— Вера, — Гера говорил теперь очень осторожно, будто боялся задеть. — А вы в каком из двух счётов?

Вера не отвечала долго.

— Мелентьевы кормят, — сказала она наконец. — А долг на тех, кто отдал. Он мне это в первый же вечер сказал, только я тогда не поняла, что это про меня.

— Значит, в первом.

— Значит, в первом.

Свеча стояла ровно, потому что окно было закрыто. Жанна на печке дышала так, как дышат непритворно уснувшие люди, и дышала она слишком уж ровно.

— Уедем утром, — сказал Гера. — В шесть. Все.

— Уедем.

— Вы сейчас соврали?

— Не знаю, — сказала Вера честно. — Я хочу уехать. Я весь день хочу уехать.

— Это не ответ.

— Это единственный, который у меня есть.

Она укладывалась на лавке, когда Жанна, лежавшая на печке, вдруг подала голос.

— Вера.

— Да?

— А Лида была девять лет и её отвели. И Улька была девять лет.

— Я это тоже посчитала.

— И она не сработала? Лида?

Вера не отвечала долго и смотрела в тёмный потолок.

— Не знаю, — наконец, произнесла она. — Я знаю только, что в пятьдесят четвёртом всё успокоилось, и мешок опять стал один в год. Значит, сработала.

— На тридцать лет.

— На тридцать лет, — согласилась Вера. — А потом увели воду.

Жанна повозилась на печке, устраиваясь.

— Тогда я не понимаю, чего оно сейчас хочет. У него же есть Лида.

— В том и вопрос.

Вера повернулась на бок и уже закрывала глаза, когда снаружи, в стороне русла, тяжело провернулось колесо.

Она села на лавке.

Гула не было. Вала не было. Был один короткий оборот и стук, как стучит механизм, который дёрнули и отпустили.

Потом ещё раз, и ещё, с одинаковым промежутком.

— Это что? — шёпотом спросила Жанна.

Гера уже стоял у окна, босиком.

— Оно вхолостую, — сказал он. — Кормления не было.
Он сегодня не ходил.

Глава 8. Холостой ход

Колесо провернулось за ночь одиннадцать раз, и Костян сосчитал все.

Он не спал вовсе. Сидел на лавке у окна с диктофоном на подоконнике и засекал по часам. Утром показал Вере листок из блокнота, где столбиком стояли времена.

— Неравномерно, — сказал он. — Первые четыре через двадцать минут. Потом через двенадцать. Под утро через шесть.

— Чаше.

— Чаше и чаще. И громче, но это, может, я себя накрутил. Вера взяла листок и пересчитала промежутки сама.

— Не накрутили. Смотрите: интервал делится пополам примерно каждые два часа. Если так пойдёт, к вечеру это будет непрерывно.

Костян поднял на неё глаза от листка.

— Мы всё равно уходим в шесть.

— Уходим в шесть.

Пока остальные собирались, Вера зашла к старику в последний раз, и зашла с делом.

Он сидел за столом и завтракал — картошка, луковица, кружка. Завтракал он основательно, не спеша, как человек, у которого впереди работа.

— Тихон Ильич, я записываю. Вы разрешали.

— Записывай.

Она поставила диктофон Костяна на стол, включила и села напротив.

— Мне нужно, чтоб вы своими словами сказали три вещи. Первое: что вы носите на мельницу и по какому сроку. Второе: что случилось в пятьдесят четвёртом с Плахиной Лидией. Третье: что будет, если носить перестанут.

Старик поглядел на диктофон, потом на неё.

— Это тебе зачем?

— Затем, что вы останетесь один и я ничего не смогу доказать. Ни полиции, ни МЧС, ни своей кафедре, — Вера положила ладони на стол. — А с записью я хотя бы приеду не с пустыми руками.

— И что тебе с той записи?

— Не знаю. Может, ничего. Но если с вами что-то случится, у меня будет ваш голос, где вы говорите, что и почему делали.

Тихон Ильич подумал, отодвинул миску и вытер рот тыльной стороной ладони.

— Ладно, — сказал он. — Пиши.

И проговорил всё три раза подряд, спокойно и по порядку, будто отчитывался, и на вопросы отвечал коротко и точно. Вера слушала и понимала, что впервые за четыре дня он не уклоняется ни от единого слова, и от этого ей делалось нехорошо.

Человек так говорит, когда собрался и когда знает, что

второго раза не будет.

— Ещё что? — спросил он, закончив.

— Ещё одно. Скажите вслух ваше полное имя и сегодняшнее число.

— Мелентьев Тихон Ильич. Тридцать первое августа.

Она выключила диктофон.

— Спасибо.

— Не за что, — он придвинул миску обратно. — Ты вот что. Когда до города доедешь и станешь это слушать, ты на последнее внимание обрати.

— На какое последнее?

— А ты дослушай до конца, — сказал Тихон Ильич. — До самого.

Было без двадцати шесть. За окном едва посветлело, стояла та сизая предрассветная муть, в которой всё выглядит хуже, чем есть.

Собрались за двадцать минут, и собрались молча. Гера свернул спальники, Жанна залила костровище, Костян уложил технику и сверху, отдельно, замотал в куртку два жёстких диска. Вера сходила к палатке, сняла её, выкопала из-под камня жестянку с записями и сунула в рюкзак.

В шесть ноль пять вышли на улицу.

Тихон Ильич стоял у своей калитки. Он был в чистой рубахе, застёгнутой под горло, и в кепке, и стоял он так, как стоят провожающие.

— Идёте, значит.

— Идём, — сказал Гера. — Тихон Ильич, поехали с нами.

— Нет.

— Тихон Ильич.

— Сказал же.

Вера подошла ближе.

— Оно ночью работало вхолостую. Одиннадцать раз.

— Слыхал.

— Вы говорили, что холостого оно не терпит и берёт само.

— Говорил.

— Тогда почему вы не пошли?

Старик поправил кепку.

— Потому что второго срок, — сказал он. — Пойду второго, как положено, и мешок принесу как положено. А нынче пойду — оно решит, что теперь всякую ночь можно. Я это уже проходил, девка, в пятьдесят третьем. Мужики тогда с перепугу стали носить по мешку в неделю, и что вышло? Оно привыкло к неделе и стало требовать неделю. Отучить потом тридцать лет не могли.

— А сейчас оно требует каждый час.

— Требовать оно может что хочет, — Тихон Ильич посмотрел на неё прямо. — Я плачу по договору, а не по хотению. Иначе договора нет, а есть грабёж.

Вера стояла и понимала, что спорить бесполезно и что старик, вероятнее всего, прав, и что от этой правоты никому не легче.

— Тихон Ильич. Мы дойдём до Гари и вызовем помощь. Полицию, МЧС, кого получится.

— Вызывай.

— Вы им откроете?

— Открою, — сказал он. — Дверь у меня не запертая.

Он снял кепку, подержал её в руке и надел обратно, и это было у него вместо прощания.

— Иди, — сказал он Вере. — И бумагу забери, я её тебе отдаю.

Он расстегнул нагрудный карман и вынул сложенную вчетверо справку. Она была смята и отсырела от пота, и Вера взяла её и почему-то не убрала в рюкзак, а зажала в кулаке.

— Спасибо.

— Не за что. Мне её нынче держать незачем.

— Почему незачем?

Тихон Ильич уже повернулся уходить и ответил через плечо:

— Потому что оно тебя и так знает. Со вчерашнего.

До третьего километра дошли за час с небольшим и шли хорошо.

Утро было свежее, роса ещё лежала, комары не поднялись. Шли цепочкой: Гера первым, за ним Жанна, потом Костян с техникой, Вера замыкающей. Разговаривали мало и только по делу, и Вера впервые за четыре дня почувствовала, что отпускает.

Машина стояла там же, где вчера, — на мельгуновской стороне провала, носом в яму.

Костян остановился возле неё и минуту смотрел.

— Всё-таки сдвинули, — сказал он. — Я всю ночь думал, что мне показалось.

— Вам ничего не показалось.

— Ага, — он потрогал бампер, где вчера была набита мука. Бампер был чистый. — О. А вот этого нет.

Вера присела и заглянула в решётку радиатора. Пусто. Ни комка, ни следа, ни белой пыли в щелях, и пластик вокруг был чистый, будто мыли.

— Костя, вы это сняли вчера?

— Снял. Пять минут материала, крупно.

— Проверьте.

Он поставил рюкзак, вынул камеру и полез в меню. Вера смотрела, как у него меняется лицо.

— Есть, — сказал он с облегчением. — Вот, всё на месте. Смотрите.

На экране был бампер, забитый белым, и рука Костяна, выковыривающая комок, и крупный план ладони.

— Хорошо, — сказала Вера. — Очень хорошо. Не удаляйте.

— Да за кого вы меня держите.

За машиной начинался тот участок гати, где вчера они шли по остаткам настила, и вот тут Гера, шедший впереди, остановился.

— Стоп, — сказал он. — Стойте все.

Дорога впереди была залита.

Это была не лужа. Вода стояла от обочины до обочины, спокойная, без течения, и в ней отражалось небо. Вера прошла вперёд и остановилась у кромки.

— Вчера этого не было.

— Вчера тут была пыль, — сказал Костян. — Я тут курил.

Вода стояла чёрная, торфяная, и дна в ней не просматривалось. Гера подобрал палку и ткнул в неё у самого края. Палка ушла на полметра и встала.

— Мелко. По колено, наверное.

— Не лезьте.

— Вера, тут двадцать метров. Мы их пройдем за минуту.

— Не лезьте, — повторила она. — Слушайте меня, это по моей части. Гать — это брёвна, положенные на топь. Если вода поднялась над настилом, значит, торф под ним разошёлся. Настил мог всплыть, мог сдвинуться, мог развалиться. Вы шагнёте между брёвен и уйдёте по грудь, а вытащить вас будет некому, потому что нас трое и все на той же гати.

Гера бросил палку в воду.

— И что делать?

— Обходить.

— Куда обходить? Тут болото по обеим сторонам.

— Значит, искать, где брод, и идти щупом, — сказала Вера. — Медленно. Часа два потеряем, но пройдем.

Костян в это время отошёл шагов на двадцать назад и сто-

ял, глядя в сторону, на обочину.

— Вера. Подойдите.

Вера подошла к нему.

Он показывал на пушицу. Вчера белые шарики росли по обочине узкой полосой, а дальше шёл ольшаник. Сегодня пушица стояла и в ольшанике, между стволами, и ольха там была наполовину в воде.

— Это же значит, что затопило не только дорогу, — сказал Костян. — Это весь массив поднялся.

— За одну ночь.

— Все верно, за ночь.

Вера посмотрела на небо. Оно было чистое, без единого облака, и дождя не было четвёртые сутки, и это Вера знала точно, потому что все четверо ночевали под открытым в нескольких километрах отсюда.

Брод искали три часа и нашли. Прошли, и потеряли на этом не два часа, а четыре.

Шли щупом, как Вера сказала: она впереди с палкой, тыча в каждую точку, куда предстояло ступить, остальные след в след. Вода доходила до середины бедра. Дважды палка проваливалась в пустоту между брёвнами, и оба раза Вера успевала остановиться.

Второй брод дался хуже первого, и хуже он дался из-за Геры.

На середине он встал. Остановился по бедро в чёрной во-

де, держась за палку обеими руками, и дальше не пошёл.

— Гера, вы чего встали?

— Секунду.

— Что у вас?

— Ногу не могу поднять, — сказал он очень ровно, и эта ровность Вере не понравилась больше всего. — Она держится.

Вера обернулась и пошла назад, ощупывая дно перед собой.

— За что держится? Корень?

— Не знаю. Оно как в глине, — Гера потянул и не вытянул. — Мягко держит. Не больно. Не пускает, и всё.

— Не дёргайте. Дёрнете — уйдёте глубже, там торф.

Она подошла вплотную и присела, погрузившись по грудь, и нащарила рукой его ботинок. Нога ушла в щель между двумя брёвнами, и щель была узкая, и держало не дно, а сами брёвна, сошедшиеся над подъёмом.

— Развяжите шнурок.

— Что?

— Развяжите шнурок и вытащите ногу из ботинка. Ботинок потом достанем.

Он развязал, и нога вышла сразу, и ботинок Вера вытянула через минуту, подцепив палкой.

Дальше он шёл в одном ботинке и не жаловался.

На привале к Вере подошла Жанна и сказала вполголоса:

— Он там, в воде, плакал.

— Я видела.

— Он же вчера сказал, что не хочет быть человеком, который уехал. — Жанна выжимала подол. — А сегодня он двенадцать часов идёт и молчит.

— Это и есть не уехать, — покачала головой Вера. — Именно это, а не то, что он вчера думал.

На той стороне сели прямо в грязь и долго молчали, отдыхая.

— Полдвенадцатого, — сказал Костян, глянув на телефон. — Десять километров осталось.

— К четырём выйдем.

— Если дальше так же — не к четырём.

Обедали на сухом бугре между вторым и третьим бродом, и обед был одна банка тушёнки на четверых и полбуханки.

Ели молча, сидя на рюкзаках. Одежда на всех стояла колом от торфа, и от всех одинаково пахло погребом.

Вера разложила на коленях карту-двухкилометровку, купленную ещё в городе, и водила по ней пальцем.

— Смотрите. Гать идёт вот так, по гриве. Это единственная сухая полоса во всём массиве, поэтому её тут и положили, — она провела ногтем. — Слева от неё Дурное, справа Моховое. Оба непроходимые, туда даже зимой не суются.

— А объехать? — спросил Костян. — По берегу реки, по руслу. Оно же сухое.

— Русло идёт на север, к карьерам. — Вера перевернула

лист. — Там сорок километров до жилья и три затопленных выработки. Мы туда не дойдём.

— А по проводам? — сказала Жанна. — Просека же должна куда-то вести.

Вера посмотрела на неё с уважением: мысль была дельная.

— Просека ведёт на подстанцию, — сказала она, найдя её на карте. — Двадцать два километра. И половина по мокрому, потому что просеку рубили без гати, там ходят только зимой.

— То есть один выход, — сказал Гера.

— Выход один.

Он взял у неё карту, посмотрел сам и вернул.

— Вера, вы понимаете, что это значит?

— Я понимаю.

— Скажите вслух. Мне надо, чтоб кто-нибудь сказал вслух.

Вера сложила карту.

— Это значит, что деревня стоит в конце единственной дороги, — сказала она. — И что вода поднялась на этой дороге за одну ночь, без дождя. Больше я ничего не говорю, потому что остального я не знаю.

— А думаете что?

— Думаю, что нас не выпускают.

Дальше было так же.

Через километр — снова вода, на этот раз шире, метров

на семьдесят. Потом участок, где настил вспучило и брёвна стояли торчком, как зубы. Потом опять вода.

К двум часам они прошли от машины четыре километра. К четырём — шесть. Гера начал спотыкаться, Жанна молчала уже час, Костян снял с себя рюкзак и нёс его в руках, потому что лямка перетёрлась.

В пятом часу Вера остановилась и оглядела то, что было впереди.

Впереди была вода. Ровная, чёрная, спокойная, и она уходила до самого поворота, и по ней торчали верхушки кустов.

— Сколько тут? — спросил Гера сипло.

— Не знаю. Метров триста.

— Пройдём?

Вера посмотрела на солнце. Солнце стояло низко, над самым лесом, и до темноты оставалось часа три.

— Нет, — сказала она.

— Вера.

— Нет. Триста метров щупом — это полтора часа, и это если брёвна на месте, — она говорила ровно и следила, чтоб голос не сорвался. — А дальше ещё шесть километров, и мы не знаем, что там. Мы попадём в темноту посреди болота.

— И что вы предлагаете? — спросил Костян.

Она уже знала ответ и знала, как он прозвучит.

— Возвращаться.

Жанна опустилась прямо в грязь, как была.

— Я не пойду обратно, — сказала она. — Я туда не пойду.

— Жанна.

— Я не пойду! — она кричала, и кричала от усталости, без всякой истерики, и оттого было хуже. — Мы шли одиннадцать часов! Одиннадцать! Мы прошли шесть километров за одиннадцать часов, и вы хотите, чтоб мы их прошли обратно?!

— Я хочу, чтоб мы ночевали под крышей, — сказала Вера.

— Там нет крыши! Там мельница!

Гера поднялся, подошёл и сел рядом с Жанной на корточках, и просто положил ей руку между лопаток, и ничего не сказал. Она затихла.

Вера отошла к воде и постояла, глядя на чёрную гладь.

Она думала не о Жанне и не о темноте. Она думала о том, чего не хотела думать весь день: что вода поднялась за одну ночь, без дождя, и что поднялась она ровно на той единственной дороге, которая ведёт отсюда наружу.

И что старик утром стоял у калитки в чистой рубахе и провожал их так, будто уже знал.

Обратно шли шесть часов и дошли в темноте.

Последние два километра брели уже без сил, с фонарями, и разговоров не было никаких. Жанна на третьем бросе оступилась и ушла по пояс, её вытащили за руки. Костян бросил один рюкзак, тот, где вещи, а не техника, и пометил место палкой, чтоб потом забрать.

В Мельгуны вошли около полуночи.

Улица была светлая, потому что небо опять стояло белёсое, безлунное. Дворы чернели по сторонам. Всё было как всегда.

Вера первым делом поглядела в сторону русла и остановилась.

Колесо ходило кругом.

Оно шло ровно и без натуги, и шло, судя по звуку, давно. Гул стоял над деревней плотный, низкий, и не спадал.

— Он всё-таки пошёл, — сказал Гера. — Слава богу.

— Нет, — сказала Вера.

— Что нет?

Она молчала и слушала. Гул шёл ровный, а вот второго звука, того сыпучего, с оттяжкой, не было совсем.

Муки в ларь не шло.

Мельницу с дороги стало слышно ещё от кузницы, и Вера свернула туда, потому что от кузницы до русла ближе всего.

Яма была засыпана.

Она стояла над ней с фонарём и не сразу поверила глазам. Ещё вчера тут была аккуратная яма в четыре штыка, с отвесными стенками и с отвалом. Сейчас земля лежала вровень, утоптанная, и отвала не было: его весь свели обратно.

Рядом стояла лопата, воткнутая в землю по самое полотно.

— Кто-то закопал, — сказал Костян за её плечом.

— Вижу.

— Дед?

Вера присела и осветила поверхность.

Земля была утоптана мелкими босыми пятками. Вся, по всему квадрату, вплотную, след к следу, в несколько слоёв, как утаптывают дети, когда играют в одном месте долго. Взрослых следов не было ни одного.

— Не дед, — сказала она.

Жанна попятилась и наступила на ветку, и ветка треснула так громко, что все четверо дёрнулись.

— Зачем закапывать? — спросил Гера сипло.

Вера выпрямилась и погасила фонарь, потому что смотреть на это дальше не хотелось.

— Наковальня лежала на месте, — сказала она. — Барсук её подрыл, но не вынул. А теперь её завалили обратно и утоптали.

— И что это значит?

— Что Матрёну положили на место, — Вера отряхнула ладони. — Кто-то вернул её туда, где она лежала, и придавил железом.

— Кто?

— Тот, кому она мешает, — сказала Вера и пошла к улице.

У Шадриных они не задержались, только бросили мокрое и взяли фонари. Никто не сказал вслух, что идут к старику, но пошли все четверо.

По дороге Костян включил камеру и больше её не выключал.

— Зачем? — спросил Гера.

— Затем, что я больше ничего не умею, — сказал Костян. — Я двенадцать часов шёл и думал: вот я приду и что? Драться я не умею. Лечить не умею. Молиться не умею. А это умею.

Вера пошла по улице быстро, потом побежала, и остановилась только у калитки Тихона Ильича.

Калитка была открыта. Дверь в избу тоже.

В сенях стояли мешки. Три полных и один початый на треть, ровно как он говорил, и все четыре были на месте, нетронутые, с завязанными горловинами.

В углу, прислонённая к стене, стояла тележка от детской коляски.

— Тихон Ильич! — крикнула Вера в темноту избы.

Ответа не было. Изба была пустая, холодная, с нетопленной печью, и на столе стояла миска, накрытая тряпицей, а рядом лежала кепка.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.